

Геннадий Ананьев

# ЗОВ ЧЕСТИ

КОЛЛЕКЦИЯ  
Военных  
Приключений



Коллекция военных приключений

Геннадий Ананьев

**Зов чести**

«ВЕЧЕ»

2018

**Ананьев Г. А.**

Зов чести / Г. А. Ананьев — «ВЕЧЕ», 2018 — (Коллекция военных приключений)

ISBN 978-5-4484-7164-3

Многие поколения Левонтьевых и Богусловских охраняли рубежи Отечества, но прогремел роковой выстрел «Авроры», и люди, ранее делавшие одно дело, оказались по разные стороны баррикад. Выбор нужно сделать каждому, вне зависимости от того, куда его забросила судьба – в стремящуюся обрести независимость Финляндию или вспыхнувший огнем раздоров Туркестан. Да и в сердце России разгорается пламя Гражданской войны, ведь «вихри враждебные» уже превратились в реальность... Роман признанного мастера отечественной остросюжетной прозы.

ISBN 978-5-4484-7164-3

© Ананьев Г. А., 2018

© ВЕЧЕ, 2018

# Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Глава первая                      | 6  |
| Глава вторая                      | 21 |
| Глава третья                      | 29 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 35 |

# **Ананьев Геннадий Андреевич**

## **Зов чести**

© Ананьев Г.А., 2018

© ООО «Издательство «Вече», 2018

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2018

## Глава первая

Вечер не складывался. Всех томила скука, но никто не намеревался покидать гостиную. Письма с Алая, которые одновременно пришли и от Андрея Левонтьева, и от Иннокентия Богусловского и послужившие поводом для сбора, давно уже были прочитаны и, как говорится, обсуждены с пристрастием. Шампанское со льдом и сытный обед сгладили противоречия, и вот теперь наступила пауза, словно лишь случай свел совершенно разных людей вместе, и они все никак не приспособятся друг к другу – каждый занят своими мыслями, своим делом.

Хозяин дома, Павлантий Давыдович Левонтьев, сухопарый генерал, сидел в мягком кресле и читал «Живое слово», то и дело откидывая спадающие на глаза волосы, поразительно густые и черные, без единой сединки, и сопровождая прочитанное громкими репликами, никому не понятными.

Удивительное дело: сидит человек в кресле, читает газету, возмущаясь тем, что кажется ему нелепостью, и одобряя подходящие его складу мышления оценки и выводы, – а надо же! – всем мешает...

Бывают такие люди – неудобные. Идет человек по тротуару, совершенно один, а попробуй его обгони – не протиснешься ни справа, ни слева. Стоит у витрины такой человек – не сможешь рядом с ним пристроиться: места не достанется. Пришел неудобный человек на службу, принимается, как все, снимать калоши и шинель, но всем вдруг становится тесно в просторном вестибюле. И стол у этого человека стоит, как у всех – обычный. И не где-нибудь на видном месте, а сбоку вовсе, но – поди ж ты! – мешает. Неловко как-то всем, хотя за ним сидит обычный на вид сослуживец. И облегченно вздыхают его соседи, если узнают, что приболел коллега и на службе не будет. Не кашляет многозначительно, когда все смеются, не сморкнется внушительно, когда все вокруг сосредоточенно скрипят перьями. За званым столом такой человек тоже лишний. И сидящих рядом теснит непомерно, а их настроение вовсе не учитывает, говорит и поступает невпопад, не заботясь вовсе о том, что кого-либо его слова и поступки могут шокировать. И что самое удивительное: выскажи такому человеку все его «грехи» – искренне оскорбится.

Таким вот и был генерал Левонтьев, ведавший делами разведки Отдельного корпуса пограничной стражи. Сослуживцы, особенно молодые офицеры, за глаза звали Левонтьева «неудобой», но в открытую упрекнуть его либо одернуть никто не решался: чином высок и родом знатен.

Вот и сейчас он, даже не замечая того, мешал своему коллеге генералу Семеону Иннокентьевичу Богусловскому, который, развалившись в кресле рядом с Левонтьевым, просматривал суворинское «Вечернее время»; мешал молодежи, толпившейся у рояля в надежде уговорить Анну Павлантьевну, юную дочь хозяина дома, спеть хотя бы парочку романсов, чтобы на какое-то время избавиться от необходимости поддерживать надоевший до противности разговор о войне, о революции, о дороговизне и еще о том, как солдаты-егеря и казаки, унтеры и даже офицеры пограничных гарнизонов распадаются на два лагеря: одни продолжают охранять границы России, несмотря ни на что, другие мародерничают и наживаются на сделках с контрабандистами, о чем с горечью писал Иннокентий Богусловский с Алая. Но только Анна Павлантьевна готова была уступить просьбам молодых офицеров, даже бралась за крышку рояля, как вновь на всю гостиную звучал гневный голос Левонтьева-старшего:

– Вот умники! Ишь ты, технократию им подавай! Больше ничего не желаете?!

Все замолкали, пытаясь понять, кто ратует за так возмутившую генерала технократию: кадеты, большевики или эсеры? Но генерал Левонтьев затихал на несколько минут, чтобы снова в самый неподходящий момент воскликнуть:

– Что?! Мадам де Теб туда же?! Ну и ну – предсказатели... А уши-то видны! Ой, видны! Палестина им нужна. Палестина. А Гогенцоллернов – под корень. От того нации и скрестили штывки!

Анна Павлантьевна опять торопливо отдергивала руку от крышки рояля, словно обожглась или укололась, и виновато опускала глаза. До романсов ли, когда по всей Европе льется людская кровь лишь потому, что кому-то очень нужна Палестина?

Она бы усмехнулась, если бы знала, что отец гневается по поводу предсказания газеты об исходе войны, которое, как уверялось в заметке, основано на библейских сказаниях и выводах из Апокалипсиса. Какой-то заморский предсказатель безапелляционно утверждал, подкрепляя свой вывод еще и авторитетом знаменитой вещи старушки де Теб, что не пройдет и года, как война непременно окончится. И итог ее совершенно ясен: будет разрушена Оттоманская империя, потеряют былое могущество Гогенцоллерны, расчленился Австро-Венгрия и получит независимость Палестина. Откуда знать молодой девушке, что идеологи Союза русского народа в наивной на вид заметке пытаются навязать обывателю свою оценку того, кому и зачем нужна вся эта ужасная мировая война...

Анна Павлантьевна любила, ее любимый стоял рядом, она хотела петь для него и лишь немного кокетничала, испытывая счастливое волнение от настойчивых просьб молодых мужчин спеть для них; но всякий раз, когда она делала вид, что уступает этим просьбам, отец мешал ей открыть крышку рояля и принуждал своими репликами думать о страдающих на фронте солдатах, стрельбе на улицах, шумливых толпах мужиков и баб, требующих хлеба и мира, казачьих разъездах, сборах средств для семей казаков, погибших при усмирении бунтовщиков... Мысли эти, однако, так же быстро улечивались, как и возникали. Анна Павлантьевна жила сейчас своим счастьем. Она наслаждалась близостью Петра Богусловского, совсем недавно получившего чин прапорщика и оттого гордого своим мундиром, своей выправкой. Но вместе с тем и досадовала, что отец вбивает в ее безмятежную радость жесткие клинья суровой реальности взбесившегося мира.

Неловко чувствовали себя и жених Анны Павлантьевны, и его брат поручик Михаил Богусловский, и молодой юрист, только что получивший диплом, Владимир Иосифович Ткач.

– Полноте, Анна Павлантьевна, пустячное – папашу своего слушать. Пусть их газету читает, мы же споем, – потрогав пальцами свои черные усы, упрасивал Владимир Ткач, влюбленно глядя на девушку. – И позвольте мне аккомпанировать.

– Нет-нет, я сама! – поспешно ответила Анна Павлантьевна и виновато посмотрела на Петра, словно извиняясь перед ним за назойливость Владимира Иосифовича. – Или – Петенька...

И тут громкий, полный искренней тоски голос прервал этот диалог:

– О, Россия! Удила ли ты закусил и пластаешься по ухабам да колдобинам?! Или ты зверь обезумевший, сжирающий собственное тело?! Воистину во гневе Господь! Он карает Русь, как и Иерусалим.

– Эка, куда, батенька мой, махнул, – с добродушной ухмылкой произнес генерал Богусловский, который долго крепился, не отвечая на реплики, делал вид, что совершенно увлечен чтением газеты, но наконец не стерпел. – Эка, сравнил...

– Вполне справедливое, Семеон Иннокентьевич, сравнение. Весьма справедливое! – ответил Левонтьев, сердито глядя на Богусловского, словно пытаясь понять, отчего тот мешает ему читать и мыслить в свое удовольствие. – Римляне легионы свои к стенам Иерусалима подводят, а там иудеи сокровища храма и власть поделить не могут. Соплеменники друг друга уничтожают. А у нас разве иначе? Германцы – те же римляне – нагледят, а мы как в марте этого года закричали: «Да здравствует свободная Россия!» – так и не закрываем рта. А видим же, видим, что властвует сегодня одно – жестокость. Не далее как на днях «Слово» воспело славу селянскому министру Чернову. И я вслед за газетой крикну: «Слава!» И поделом. Заслужил.

Распустили мужика донельзя – управы на него нет. Сабурову я знавал в молодости, милая женщина, благотворительница, каких поискать по всей Руси, так мужики старушку изнасиловали и на веревках таскали ее по деревне. Имение разграбили. Все порушили. И разве только в Самарской губернии такое?! Вся Россия сегодня – сплошной погром.

– Безусловно, это жестоко. Весьма даже жестоко, – возразил поручик Богусловский, услышавший начало спора и покинувший молодежь (вот уже несколько месяцев всякий раз, когда старики генералы начинали словесную баталию, либо когда и его отец и особенно Левонтьев брюзжали и гневались, поручик ершился и лез буквально в драку; он и сейчас не упустил момента). – Но вы, Павлантий Давыдович, однако же, не учитываете...

– О, наш социал-демократ подает голос, – иронически прервал Михаила генерал Левонтьев. – Я учитываю одно – всякому должное: кому подать – подать; кому оброк – оброк; кому страх – страх; кому честь – честь. Так еще святой Павел проповедовал. Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога...

– Давно ли вы с упоением читали обращение Временного правительства к гражданам Российского государства: «Свершилось великое. Могучим порывом русского народа низвергнут старый порядок...» Что, император не от Бога? А Учредительное собрание, которое так навязывают народу, а он всеми силами противится, это – от Бога?

– Но должен же быть порядок в стране! – воскликнул Левонтьев. – Прав много надавали, а вот – обязанностей? Представьте, Деникина пытали! Деникина! Мало того, что в Бердичевский застенки бросили, так еще солдаты перед окнами тюрьмы вырыли яму и кричали без умолку: «Здесь тебя живьем зароем!» И зарыли бы, не вмешайся тюремная стража. Тогда стекла в камере повыбивали камнями и давай закидывать камеру нечистотами да вшами в газетных кульках...

– А газета ваша любимая не сообщала, где солдаты вшей в кульки собирали? – иронически спросил поручик Богусловский. – Возможно, с себя горстями сгребали? Эка, озорники, эка, нахалы... Если бы генерала блоха любимой собаки куснула, тут ничего, тут даже приятно...

– В трибунал бы за такое варварство! В трибунал! – словно не слыша Михаила Богусловского, возмутился еще более генерал Левонтьев. Смотрел он по-бычьей грозно и гневно повторил: – В трибунал!

– И сквозь строй! – подражая его тону и голосу, подхватил поручик Богусловский. – И репете! И репете!<sup>1</sup>

Вновь генерал Левонтьев не удостоил молодого поручика ответом. Продолжал все так же гневно и решительно:

– Я бы принял декларацию обязанностей солдата! – воскликнул он, потом помолчал немного, успокаиваясь, и продолжил, уже не сердчая, а как бы раздумывая: – Декларация прав солдата... Эка, как внушительно. И впрямь, нынче ни один солдат в мире не имеет столько прав, сколько наш. И что же: удивительно быстро узнал русский солдат о своих правах и привык к ним. А сочувствуют все: безграмотен, дескать. Вот тебе и безграмотен! Он безграмотным прикидывается, когда о долге начинается разговор. Не хочет он знать долга своего. Долга защитника Отечества! Мать, жену, наконец, дитя кто оборонит от кайзеровцев, если все оборотятся спиной к долгу? Пагубен яд пацифизма. Разрушает он стену армии, которая всегда надежно ограждала Россию от врага...

– Отчего же? – снова подстраиваясь под тон генерала Левонтьева, возразил поручик Богусловский. – Отчего же рушится? Как же вы можете не брать в расчет «армии чести», «батальоны стойкости», «ударные батальоны»? И, наконец, можно ли забывать о женских полках?..

---

<sup>1</sup> Repete (*фр.*) – повторный; неоднократный, многократный.

Левонтьев недовольно глянул на Богусловского, откинул нервной рукой смоляные волосы, спадавшие на лоб, промолвил назидательно:

– Пусть нет у меня седин, но позорно, Михаил Семеонович, забывать о возрасте моем. Не грех ли насмешничать? Или социалисты себе позволяют все?

– Они говорят правду...

– Правду?! – раздувая ноздри, отчего сухой, до прозрачности, горбатый нос генерала стал еще прозрачней, Левонтьев свирепо переспросил: – Правду?! Петроград заполнили дезертиры! Папиросами торгуют! Заплевали семечками все на свете! Да, обязанности без прав – это было горько, но одни права без обязанностей – это же гибельно!

– Отчего же нет обязанностей? Есть они. Народ их знает. Мы не знаем – это другой вопрос...

– Народ?! Шлея ему под хвост попала, вот и начал взбрыкивать, а его еще и подхлестывают. Нет, вот где место истинно русского человека, вот в этих рядах, – ткнув худым длинным пальцем в газету, где была помещена заметка о готовящемся в Одессе еврейском погроме, воскликнул Левонтьев. – Всех смутьянов под корень! Пусть им кровь русская отольется. Продают Россию за марки, гульдены и кроны!

– Мы не ломовые извозчики, не приказчики и не швейцары из трактиров, – спокойно, даже, казалось, весело возразил генерал Богусловский, застегивая мундир на своем массивном животе. – Нас ведром водки не приманишь. Куда как лихо – рожа пьяная, руки в крови... Души, дави, ибо ты черная сотня святого Союза русского народа. И это восхваляете вы, Павлантий Давыдович? Невероятно!

– Да, я утверждаю, – еще злее воскликнул Левонтьев, сердито сопя своим прозрачным носом, – и буду утверждать: под корень смутьянов! Они хотят, чтобы мы вцепились друг другу в глотки и пили кровь. Нет, вы подумайте только, куда нас толкают?! Вот он – крик души Шрейдера, – ткнул пальцем Левонтьев в газету. – Положение в столице такое, что если запоздает почему-то товарный поезд, или замедлится выгрузка, или остановится на несколько часов мельница, то продовольствие города станет в чрезвычайно критическое положение. И вот, – Левонтьев пробежал глазами по строкам, – вот: «Граждане, это состояние станет ужасным, если будет нарушен порядок в городе... Тягчайшее из преступлений совершил бы тот, кто пошел на такое злое дело». Обратите внимание: «злое дело». Нет, я – за Союз русского народа. За боевой союз. Под корень всех смутьянов!..

– Метаморфозы, Павлантий Давыдович, метаморфозы, – с ухмылкой перебил горячую речь Левонтьева Богусловский-старший. – Помнится, говаривали вы, что к подписям Тургенева, Шевченко, Чернышевского, протестовавших против антисемитских публикаций, и свою готовы поставить. По делу Бейлиса кто возмущался, кто ставил себя в один ряд с протестующими Горьким, Куприным, Блоком, Андреевым? Кто собирался вступить в комитет борьбы с антисемитизмом? А не далее как месяц назад вы ратовали за общество «Самодетельная Россия». Как, дай бог памяти, там: борьба с германским засильем путем развития самостоятельности русского народа. Эка, батеньки мои, программа. Вот уж поистине донкихотство! Куда ни ткни пальцем, везде австрияк да немец. Шрейдер, наш городской голова, не из них ли? Добрая часть министров – не из них ли? Самодетельность, – вновь усмехнулся Богусловский. – Эка, выход! Иль, кроме самостоятельности, ни на что иное русский не способен? Неужто у нас своего ума нет? Неужто своего пути не найдем? Особенно теперь, когда царь отрекся?!

– Об этом и я, дорогой Семеон Иннокентьевич, говорю, – вполне одобрительно произнес Левонтьев. – И я за Союз русского народа.

– Какого русского?! – начиная сердиться, переспросил генерал Богусловский. – По мне, пусть так и будет: кесарю – кесарево, Богу – Богово. Пусть они сами между собой разбираются. А нам не плохо бы, руки умывши, за свои дела приняться...

– Кто разбирается? Бог и кесарь?

– Нет, Павлантий Давыдович, – ответил за отца поручик Богусловский. – Германцы и палестинцы. Пошевелите историю... Гетто и кровь. Кровь и гетто. Просветы только в частностях. И мировая война – продукт этой вековой вражды. Вы же только что прочли предсказание и разве не уловили его смысла? Я одного лишь не пойму: что нам в этой борьбе делать? Скифы не враждовали с Палестиной никогда. Славянам на пятки германцы, а не палестинцы наступали. Их цель – безраздельное господство не только в Европе, но и в России, вот и лезут вон из кожи, чтобы столкнуть лбами русских и евреев. Чтобы русскими руками врагов своих бить. А ставка – на общественное дно. На подлецов, если хотите. На пьяниц.

– В союзе – почтенные люди, а не дно, как вы изволили определить... – начал было возражать Левонтьев, но Михаил Богусловский резко оборвал его:

– Не уподобляйтесь страусу! Верно, звучит громко: Союз русского народа, палата Михаила Архангела; куда как созвучно духу россиянина! А лидеры кто? Нейдгард, Буксгевден, фон дер Лауниц, генерал фон Раух, барон фон Тизенгаузен... Только Марков, пожалуй, из русских. Так скажите на милость: пристало ли нам служить у германцев заплечных дел мастерами? Пусть ломовой извозчик, влив в себя стакан дармовой водки, горланит: «Русь державная, святая и могуча, и сильна...» Но вы-то, Павлантий Давыдович, хорошо осведомлены, кто это написал: барон Шлиппенбах. И насчет гульденов и марок, насчет шпионов немецких тут тоже прикинуть не грех. Помните у Гюго: змеи извиваются самым неожиданным образом. От Петра Великого, почитайте, иноземец каблуком русского мужика придавил. Порол, насильничал. Да что там министры?! Самодержцы каких кровей да пород? Не подданническим взглядом, а взглядом человека, способного думать самостоятельно, взгляните в родословную императоров наших! Корень русский, романовский, только ветки какие? Много в них кровей разных. А от Павла начиная, вовсе кровинки романовской не сыскать в них. Чем они татаро-монголов лучше? Те хоть передышки давали. Налетят, порубят, в полон позаберут – и восвосяи. А эти день ото дня арапниками стегали да борзыми травили. Из нужды не выпускали вовсе. Не давали русскому человеку человеком стать. И сами же твердили на все голоса: ленив, дескать, русский мужик, пьяница, нечистоплотен. В общем, свинья свиньей, только не хрюкает, а матерится.

Поручик Богусловский говорил резко и так уверенно, что Левонтьев никак не решался прервать его, хотя вовсе не был с ним согласен. Генерал только сердито раздувал свои прозрачные ноздри и, не скрывая неприязни, смотрел в упор на Михаила. А молодежь поначалу при молкла, затем Владимир Иосифович и следом за ним Петр с Анной Павлантьевной подошли к спорившим и остановились подле Михаила, словно намереваясь поддержать его. И получилось так, будто образовались две противоположные стороны: одна – сидевшие в креслах старики генералы; другая – молодежь. Но это было далеко не так. Каждый из них имел свое мнение на происходящие в мире события, каждый искал в них свое место, сообразуясь со своим понятием добра и зла, чести и бесчестья.

Михаил же Богусловский продолжал, словно проповедник:

– Сколько раз мужику русскому становилось невтерпеж, сколько раз он брался за топор?! Вот и теперь взбеленился. Верно, рушит почем зря. Бьет правого и виноватого. Без всякого разбору. Тут бы ему помочь разобраться, кто враг его, кто друг...

– Каким образом, с твоего позволения, Михаил Семеонович, сделать это? Рта не успеешь раскрыть, а уж штык в животе либо пуля во лбу, – потрогав пальцами усы и услужливо полупоклонившись, вкрадчиво, как бы подчеркивая, что возражает вынужденно, сам не желая того, втиснулся в спор Ткач. – Каким образом, с твоего позволения?

– Кто хочет делать, тот ищет способ, а кто не хочет, ищет, естественно, причину. Так вот немцы, Владимир Иосифович, ваши сородичи...

– Михаил, ты грубеешь день ото дня, – упрекнул сына Богусловский-старший. – Казарма дурно на тебя влияет.

– Нет. Она приучает говорить правду, так не привычную для нашего просвещенного общества, – ответил Михаил отцу и, сделав небольшую паузу, продолжил: – Так вот немцы ищут способ. И позвольте вас уверить, не без пользы. Пошленький стишок в газете: пороть большевиков, пока из их пыльных спинок не полезут марки, гульдены и кроны, а из какого-то Нахамкеса-Стеклова вылезет австрияк... Представьте, и завтра подобный пасквильчик, и послезавтра – так день ото дня, нечистоплотно, нахально. Невольно сомнения возьмут даже образованного человека. Крестьянин же, глядишь, все за чистую монету примет. Да если ему еще немец-управляющий, надевший теперь маску благодетеля-демократа и не менее мужика ругающий своего бывшего хозяина, все это прочтет со своими комментариями?

– Если позволишь, Михаил Семеонович, в твоих утверждениях не видно логики, – возразил Ткач, на этот раз не так робко. – Отчего немец на немца хулу возводит? Бей свой своего, чтобы чужой и духу боялся? Так ты утверждаешь? Но поверь мне, в России нет немцев. Они ассимилировались совершенно. Кроме разве колонистов немногих. Лишним мне представляется называть имена тех, кто создавал славу России. Славу ратную, славу просвещенности, славу мореплавателей и первопроходцев. Разве мы можем их назвать немцами либо голландцами? Кошунственно это бы прозвучало. Они – сыны России!

– Многие и фамилии сменили, – подхватил, стараясь даже копировать тон Ткача, Михаил Богусловский, но его резко одернул отец:

– Не забывайся, Михаил!

– Отец, как можно обидеть человека, если он, меня фамилию Бубера на Ткача, исходил лишь из чувства патриотического, – ответил отцу Михаил Богусловский, затем вновь обратился к Владимиру Иосифовичу: – Вы не станете отрицать истинность моих утверждений?

– Видимо, ты в какой-то мере прав.

– Вот и отлично. Отдадим должное патриотам России, однако не станем умалчивать: крепостников было предостаточно. Разве они не видели, что мужик ненавидит их, готов втоптать в грязь, в ту самую грязь, в которой держит крепостник мужика? А сегодня час возмездия – реальность. Но кому хочется терять власть? Вот и начали извиваться крепостники. На ненависти к себе спекулировать. Всех, кто борется сегодня против их власти, они именуют немецкими шпионами. Отменная, просто незаменимая аргументация этих утверждений – война с Германией. Пока разберется мужик, германцы уже вновь крепко вожжи русской птицы-тройки держат и осаживают ее, едва она ход начинает набирать. Попутно и своих вековечных врагов – к ногтю. Нашими руками создать на Руси гетто. А разгорится вражда – трудно представить, какие беды принесет она русским людям. Россиянин доверчив и простодушен, его обвести вокруг пальца ничего не стоит! В одиночку выживать он не научен. Он силен, когда скопом сгневится. Тогда за дубину схватится. Но долго прежде станет муку мучить, пока поймет, откуда все невзгоды. Время ему понадобится, чтобы раскусить, что крест он несет не за свои грехи, а лишь за то, что германца, врага иудейского, многие годы кормил-поил. Мало того, по его же наущению еще и евреев притеснял. Тогда поднимет дубину русский народ, когда уяснит себе четко, что несет крест за сотню-другую пропойцев-ломовиков да трактирных вышибал, кои через зеленую бутылку себя готовы продать, не то что Россию, и за тех, кто ни за понюх табаку проливал кровь таких же, как и он сам, бедняков лавочников, портных да сапожников...

– Весьма любопытна нить рассуждений, – уже не сердчая вовсе, раздумчиво констатировал генерал Левонтьев. – Вполне можно понять. Увы, однако, только понять, но не воспринять. Мои убеждения я оставляю при себе.

– Человек мыслящий сопоставляет факты двух измерений: прошлого и настоящего. Только это может дать ему верный вывод о будущем. Убеждения мыслящего человека не в силах поколебать никакая злоба дня...

– Михаил! – умоляюще воскликнул Петр Богусловский. – Я прошу тебя, не заострай.

– Хорошо, – согласился Михаил сразу же. – Прекращаю.

Он прекрасно понимал состояние своего младшего брата, для которого мир семей Левонтьевых и Богусловских был сейчас желаннее всего на свете. Пусть на малый срок мир. Пусть хоть до свадьбы. Уступая просьбе брата, Михаил извинился перед генералом Левонтьевым за возможное в пылу полемики какое-либо оскорбление, потом добавил:

– С вашего разрешения, господин генерал, я покидаю ваш гостеприимный дом. Меня ждут мои солдаты. Младшие чины.

– Ваши? – с иронией спросил генерал Левонтьев и, словно опомнившись, воскликнул: – Ах да! Вы же в комитете. Уж простите старика, что запамятовал... Впрочем, они – не ваши, вы – не их. Им нужен ваш мозг. Они высосут, как пауки из мухи, его из вас и потеряют к вам вовсе интерес. Несите свой крест на Голгофу, и бог вам судья!

Михаил Богусловский едва сдержался, ради брата, чтобы не ответить резко. Он, молча со всеми раскланявшись, направился было к выходу, но его догнал Петр.

– Наверное, мы не увидимся скоро, поутру я уезжаю на границу. Прощай.

– До свидания, Петя. Честно служи, как наш Иннокентий. И пусть не вскружит тебе голову новый чин.

Братья обнялись, постояли, прижавшись щекой к щеке, а потом крепко пожали друг другу руки. Понимали: не скоро это сложное время позволит вновь оказаться вместе. А вдруг и вовсе не суждено им больше свидеться? Михаил уже пожалел, что уходит, что попрощался со всеми, и теперь возвращаться считал неприличным, но и оставлять Петра, не побыв с ним хотя бы еще немного времени, ему не хотелось. И он попросил:

– Проводи меня, Петя.

– Пожалуй, – нерешительно согласился Петр. – Вот только Анна Павлантьевна...

– Ты воротишься непременно. Она вполне поймет тебя, – успокоил брата Михаил, а сам подумал: «Бедный, наивный мальчик. Не склеится у них. Иные мы, чем Левонтьевы. И с Ткачами иные. Особенно теперь, в смутное время», – но не стал это говорить брату, уверенный в том, что Петр, влюбленный и, следовательно, слепой вовсе, может обидеться. Михаил взял брата под руку и повел к выходу...

Михаил Богусловский был совершенно прав: все три семьи – Левонтьевы, Ткачи и Богусловские – совершенно не схожи, хотя времени для сближения и взаимного влияния одна на другую имели предостаточно. Судьба свела их на одну пограничную тропку еще в крепостях и сторожах Белгородской порубежной черты. Там и начались их трудные и путаные отношения, там началось их соперничество за высокие чины на служебной лестнице порубежной стражи, и никто не хотел уступать в этом соперничестве.

Два брата Левонтьевых признавали право быть верховодами только за собой. Много лиха они здесь хлебнули. Их отец, потомственный стрелец, поклялся государю, поцеловав крест у киевского воеводы, служить без всякой хитрости в лазутчиках, подучил языки иноземные и поехал за кордон. Двадцать пять лет лазутил Левонтьев, а в эти годы сыновья его, Ромашка и Филька, словно беглые черкасы, удостоверили своей поручной записью, что будут служить летом и зимой, в дальних городах и ближних, годовую и полугодовую службу, где какую службу государь укажет, а бывшим на караулах над государевой казною никакой хитрости не учинять и у своей братии-стрельцов свинцу и пороху не красть...

Служили верно. От дозоров на сторожах не увиливали, а ведь не единожды видели порезанных ногайцами стрельцов, не раз сами едва живы оставались, но ни разу не показывали спины врагам. А чтобы числом малым удержать их до подмоги, на облюбованных степняками-грабителями дорогах рыли ямы в два и три ряда в полусажени одна от другой, а в ямах крепили по дубовому колу, устраивали засеки, сами же крепостцы-сторожи окружали тыном, перед которым насыпали еще и земляной вал. И часто их имена вписывал воевода белгородский в челобитных царю, и тот пожаловал в конце концов Ромашку и Фильку, словно детей

боярских, пашней пахотной, перелогом, да и жалованье положил знатное – по пяти рублей в год.

Когда же отец вернулся в Киев и привез с собою несколько сот газет европейских – авизов да донесений достаточное число о всяких немецких, цесарских, турецких, крымских и польских поведеньях, за что государевым указом был пожалован землей, – Ромашка и Филька уверились в том, что не дело теперь им дозорить в сторожах с босяками-черкасами, а подошло время воеводить в крепостях. Так бы оно и случилось – воевода белгородский послал царю челобитную, чтобы Романа Левонтьева поставить воеводой в крепость Корочу, а Фильку при себе оставить, – только перешел Роману дорогу Глеб Богусловский, молодой стрелец. Доставил тот по цареву указу на Корочу две пушки медные на колесах, ядер полугривенных сто штук, пищали, десяток пудов зелья пушечного, пуд железа немецкого да другого нужного ратному люду скарба, а тут сакма ногайская из-за реки Сосны у Павловского леса прошла. Левонтьев Роман в погоню наострил было, только Глеб Богусловский иное предложил: поставить на след сакмы казаков пяток, пусть гонят да знать дают, каким путем вороги уходить станут. Там тогда засаду и сделать, пищали опробовать. Левонтьев – ни в какую. Можно ли, сердчает, вольно пустить по русским деревням ногайцев, чтобы насильничали и разбой чинили без помехи?! Но и Богусловский упрямится:

– Побегаеть за сакмой без проку, она же и добро, и полонянок в ноги уведет!

Казаки да стрельцы корочанские Глебу в поддержку зашумели. Верное, дескать, стрелец московский слово сказал, так и следует поступить...

Отрядили пяток казаков, и те, благословясь, вскочили в седла. День томятся корочанские порубежники, другой, а вестей все нет и нет от казаков-лазутчиков. Роман Левонтьев, словно туча грозовая, ходит, но спора не затевает. Хоть и разрывается сердце от боли, когда подумает о разбое ногайском, так бы и кинулся по следу сакмы, но злость на стрельца приезжего боль пересиливает. Представляется ему, как на дыбе корчится самодовольный стрелец, и дух от злобной радости заходится:

«Пусть уходят ногаи! Пусть! Не миновать тогда самолюбцу дыбы! Не миновать!»

Только не так все вышло. На третий день, когда уже и тех ратников, что Глеба поддерживали, начало брать сомнение, прискакал казак-лазутчик Федька Богодух и выпалил, что идут ногайцы со скотом и пленными прямо на Ломовитую яружку. Тут уж дали волю коням корочанцы, выскочили наперехват.

И снова Глеб Богусловский верховодит. Засаду подково расположил. Пищали – по бокам. Чтобы, значит, пленников русских не побить, а ногайцам ядрами урон нанести великий да строй разметать. Казакам повелел тоже с боков атаковать, отбить сперва пленников, а уж тогда сакму – в клинки.

Роман Левонтьев тоже хорохорится. Впустую, однако же. Потеряло его слово силу. Злись не злись, а делать нечего. Все Глебу Богусловскому в рот заглядывают, каждое его приказание исполняют мигом. И надо же, человек-то совсем новый, а ратники сразу признали за ним право воеводы.

Сакма двигалась хитро. Впереди – до полусотни всадников, следом – пленные, связанные по четверо в ряд, затем – скот, а уж потом – основные силы ногайцев. Тактика такова: наткнется сакма на стрелецкую засаду – передовые конники рассыплются веером, оставив пленников впереди, и погонят их вместе с овцами, коровами и лошадьми на русских ратников, расстроят их ряды, тогда уж пустят в ход сабли. И не ждала сакма фланговых ударов, не готова была их встретить.

Пушкари верно навели пищали, ядра врезались в ногайцев, сбивая всадников, калеча лошадей, и тут же налетели на сакму ястребами казаки и стрельцы, отсекая клиньями авангард и основные силы от пленников и скота.

Несколько часов длилась сеча, многих ногайцев побили воины корочанские, а у самих только и потерь – десяток раненых...

За тот бой одарил Глеба Богусловского царь сотней десятин земли, жалованьем из казны и повелел на Короче воеводить. Хотел или не хотел такой чести Богусловский, одному богу ведомо, да не поперечишь государеву указу. Обиду же Левонтьева в счет не взял. Подумаешь, воин великий, Богусловскому ли чета! Слава Богусловских – еще от Данилы, прадеда Глеба. Был он приближенным боярина Захария Тютчева, посла Дмитрия Донского в Золотой Орде. Много нужных Москве сведений добывал в Орде Данила Богусловский, а Тютчев направлял их великому князю Дмитрию Михайловичу. Дал знать Москве Тютчев о том, что Мамай готовит великое нашествие, собирая под свои знамена не только ордынцев, но и воинов из улуса хулагидов и из Хорезма; и о том, что нанял Мамай генуэзскую пехоту из византийских колоний в Крыму; давал знать Тютчев и о других Мамаевых приготовлениях. Когда же Данила Богусловский сумел дознаться, что Мамай тайно сговорился с литовским князем Ягайло и рязанским князем Олегом, чтобы они вместе с Ордой пошли на Москву, Захарий Тютчев сообщить об этом великому князю направил самого Богусловского.

Тогда-то Дмитрий Михайлович и взял в княжий двор верного и храброго ратника. А в скорый срок вместе с полусотней удалых людей двора великого князя послан был он в сторожи степные, чтобы кострами давать знать, когда рать Мамаева поход начнет, да и дальше весь ее путь огнями дымными указывать. Так и стал род Богусловских воями. И с Едыгеем бились Богусловские, Улу-Мухаммеду заступали пути; и на реке Угре многие дни держали перевоз от Ахмет-ханских ордынцев, а потом по указу Ивана III, первого царя Российского, вместе с судовой ратью, ходили вниз по Волге под самые улусы ордынские-варварские, огню и мечу их придавали, чем великую пользу для русской рати сотворили... Да и сам Глеб в войске стрельцовом отменно служил, множа ратную славу Отечества. Вот и считал, что вправе верховодить в Корочи-крепости, и никто обиды на то держать не должен, а наоборот, принять за благо быть под началом воеводы столь храброго рода. Ему бы отправить в другую крепость Романа Левонтьева, а он при себе оставил и года через три жестоко за это поплатился.

Поехал Глеб Богусловский в Белгород по вызову воеводы с малым числом казаков, а день спустя с Калмиусской сторожи в Корочу прискакал гонец и сообщил:

– Казаки с ногайцами сшиблись. Сало те закапывали!

Известие то встревожило стрельцов и казаков. Они хорошо знали, что степняки, готовясь к набегу изгоном, стремительному, рассчитанному на скорость, не только выстаивали боевых, вьючных и заводных лошадей, но и закапывали в ямы, подстелив на дно полынь и накрыв сверху полынью, бараньи курдюки и верблюжьи горбы там, где предполагали возвращаться из набега. Несколько часов проскачут, часто пересаживаясь прямо на скаку на заводных лошадей, подлетят к загодя приготовленному салу, отгребут с одного края землю до полыни, а затем, словно рулет, скатают с ямы верхний слой полыни вместе с землей, посекут сало саблями на куски и – лошадям те куски в рот. Лошади уже привычные к этому, хватают сало с жадностью. И воду оно заменяет, и овес с сеном. Себя всадники тоже не обижают, глотают живоглотом посеченное сало. Минуты на все это уходят, и вновь лошади, словно былинные тулпары-птицы, летят по степи – не догнать. И раз у Калмиусской сторожи сготовили яму с салом, значит, там и будут уходить после грабежа. А где прорываться намерены? Тут встревожишься.

Собрал стрельцов-бородачей да казаков Роман Левонтьев совет держать. Так и эдак гадали, только толку чуть. Всем понятно: пойдет сакма, а где и когда – одному богу известно. Подлазутить бы, только не поздно ли? Порешили: послать гонцов по всем сторожам и ждать, где задымит костер.

Сакма прорвалась сквозь засечные линии в тот день, когда Глеб Богусловский возвращался в Корочу. Задымил костер на стороже у деревни Реут. Суший пустык на той стороже было стрельцов и казаков, но на какой-то час сакму они придержали. Бились, ожидая помощи,

но она не успела. Прискакал Роман Левонтьев в сторожу к шапочному разбору. Поручено все, ратники перебиты, а сакмы и след простыл. Кручинятся стрельцы и советуют Роману Левонтьеву:

– Послал бы, боярин, воеводе встречу, казаков на добрых конях. А то, не ровен час, беда приключиться может.

А Левонтьев в ответ:

– Воевода наш Богусловский не одобрит такого. Он ли не учил в растопырку не биться с сакмой. Вот так, дружиной всей, и бить ее следует, иначе все мы, – Роман указал перстом на ратников порубленных, – вот так и погибнем. – Помолчал чуток, с мыслями собираясь, и повелел: – Засаду сделаем. Лазутчиков и тех наряжать не стану. Ясно, что у Калмиусской сторожи ворочаться будут. Там сало займили.

– Особый случай, – ворчат стрельцы-бородачи. – Посылать, боярин, встречу нужда есть...

– Бог милостив, – отвечает Левонтьев. – Авось еще у воеводы в Белгороде бражничают Глебушко наш уважаемый.

– Бог-то бог, да сам не будь плох, – возражают стрельцы. – Послать бы, Ромашка, встречу...

Резануло это мужицкое – Ромашка. Был Ромашка, да весь вышел. Прикрикнул гневно Левонтьев:

– Довольно лясы точить! Сказал: засаду готовить станем, так тому и быть!

Поворчали порубежники себе в усы: «Ногаец, он что – вовсе дурак?! Сало-то перехоронили, должно, после казачьего догляду», – но перечить боярину более не смели. Все делали, что велел он: и пищали поставили, и себе удобные норы соорудили, и ям волчьих нарыли, понатыкав острых кольев на дно достаточно, и притаились так, что даже сороки, летая рядом, не верещали вовсе. Только понапрасну тратили силы и время – казак из охраны Глеба Богусловского прибеж пеши, на губах кровавая пена, как у загнанной лошади, и прохрипел, себя насилуя:

– Воевода бьется с сакмой. Уходит она на Ямную сторожу!

Верстах в пяти от засады та сторожа, пустить бы казакам своих коней наметом, глядишь – перехватили бы ногайцев-разбойников, но Романа Левонтьева будто сонная муха укусила. И прежде не очень расторопничал, а тут вовсе будто квелый. И смелости чуть. Стрельцов на совет собрал, чтобы не ошибиться, не дай бог. Спрашивает бородачей:

– Пищали, думаю, брать придется, иначе не осилим сакму. Не иначе большой она силы. Как ваше слово, стрельцы?

Молчат все, насупились. Не сразу сообразят, что и ответить. Вроде у человека вовсе ума нету. А Левонтьеву того и нужно. Говорит уверенно:

– Так, значит, и порешили.

Уж так торопились стрельцы и казаки, да с пищалими неуклюжими сильно не разбежишься. Пока дотащились до Ямной сторожи, сакмы и в помине уже не было. Роман Левонтьев расстроился, даже смотреть на него жалко. Себя поносит на чем свет стоит. И, только покручинившись изрядное время, встрепенулся будто, пустил казаков в погоню, а сам, взяв стрельцов с дюжину, направился к тому месту, где Глеб Богусловский бился с сакмой.

Знатная сеча была. Ногайцев изрядное число постреляно и порублено, но и казаки все полегли. Только Глеб Богусловского среди них не оказалось.

– Выходит, тонка кишка у воеводы, – заключил Левонтьев. – В полон угодил.

Смолчали стрельцы. Зарыли ногайцев в яму неглубокую, аки падаль, лишь бы не воняли, а казаков повезли в Корочу. Там и похоронили по-христиански. А Левонтьев, склонив голову у могил свежих, перекрестился размашисто и молвил скорбно:

– Порубежники российские, молодцы удалые, верные холопы царевы, пусть земля пухом вам станет. За недогляд иль предательство воеводино сложили вы буйные головы...

Будто ветерком холодным и шумливым протянуло по рядам стрельцов, а казак-гонец, что пеший в Корочу прибег, гневно подступил к Роману – и за грудки его:

– Не хули, боярин, воеводу нашего. Не неволь грех на душу брать! Не отпишешь царю, сам к нему подамся. Но прежде!..

– Ладно, уймись, – согласился вдруг Левонтьев. – Тебе и поручу челобитную доставить государю.

Роман Левонтьев сдержал слово. Продиктовал писарю челобитную, чтобы знали корочанские ратные люди все, что в ней сказано. И воеводу, и всех погибших казаков да стрельцов богатырями назвал, не пожалел слов добрых и челом бил государю: оделил бы он вдов и сирот хоть малой землей. Довольны остались той челобитной корочанские порубежники, а казак-гонец, гордый содеянным, лихо вскочил на коня и сразу пустил его в намет.

Однако зря спешил. Не судьба, видать, царю в ноги поклониться. Приключилось что-то в дороге дальней да нелегкой. Сгинул казак – буйна головушка. Будто сквозь землю провалился. Ни сам не вернулся, ни от царя вестей нет никаких.

Послал Роман Левонтьев второго гонца с грамотой, самолично написанной. Сказал гонцу, что, мол, все в ней так, как и в первой. Только кто прочитает ее мог? Писаря на тот случай в Корочи не оказалось. В Белгород по нужде дел ратных был направлен тот Левонтьевым. Покрутил гонец пакет, перстнем опечатанный и, перекрестясь, вспрыгнул на коня. Левонтьев тоже осенил себя крестным знаменем и, склонив голову долу, молвил покорно:

– Дай ему путь, Господи!

Видно, услышал Всевышний молитву эту, оберег гонца от лиха. Только не все то, о чем думку думал Левонтьев, сбылось. Не его воеводою вместо Глеба Богусловского государь поставил, а прислал Якушко Ткача.

Чудной какой-то, чтомышь вострозубая и востроносая. А говорит гладко, как по писаному. Не из боярского, видать, терема. Так и просится на язык слово – не русских кровей. Только как же, если – Ткач?

Не снял с седла ни метлы, ни собачьей морды воевода: пусть не забывают корочанцы, что из опричников он, из той тысячи телохранителей Ивана Грозного, которую приблизил к себе царь после того, как Малюта Скуратов, Федор Басманов, Анастасий Вяземский, Василий Грязнов и другие фавориты царя и его молодой жены Темгрюк, нареченной перед свадьбой христианским именем Мария, раскрыли боярский заговор. Меж собой, за чаркой, в Корочах стрельцы говаривали, что грех за казенных бояр да за опричнину разгульную на душе царицы. И добавляли: у иноверцев, видать, грех совершить, все одно, что до ветру сбегать. Но что бы ни говорили во хмелю стрельцы, да и не они одни, но опричнина лютовала, опричнина была в чести до тех пор, пока не женился царь на Анне Алексеевне Колотовской. Уж как она смогла-сумела, только начал Иван Грозный разгонять своих телохранителей. Вот и Ткача удалил в Корочу. Стрельцы и казаки рады были тому разгону и удивлялись, отчего не выбросил Ткач ни метлы, ни морды собачьей, на которую сам тоже весьма похож.

А Ткач верил, что временное все это. Зацепились раз тысячи людей за власть, не упустят ее. Верил Ткач – вернется он еще в Москву, погарцует по Зарядью, пугая не только сыновей боярских да купеческих, но и всех людишек московских. А пока, хотя лихоманка-судьба повернулась спиной, ждать у моря погоды смысла нет. И Якушко Ткач принялся действовать...

Для него смысл порубежного бережения вовсе не имел святости. Засечную стражу не обременял он слишком своими распоряжениями, стрельцы и казаки поступали на каждой стороже всяк по своему разумению. В одном были едины: службу несли исправно. Когда дозорили, дважды в одном месте огня не разводили, там, где полдневали, ночевать не оставались. В лесах не становились, а бдили на лобных местах, откуда врагов далеко разглядеть возможно, и без смены урочищ и сторож не оставляли, ибо читана была казакам воля государева, воеводе всей порубежной стражи Воротынскому сказанная: «А которые сторожи, не дождавсь себе обмена,

с сторожки сойдут, а в те поры государевым украинам от воинских людей учинитца война, и тем сторожем от государя царя и великого князя быти казненым смертью. А которые сторожи на сторожках лишние дни за сроком перестоят, а их товарищи на обмену в те дни к ним не приедут, и на тех сторожах за послушание имати тем сторожем, которые за них через свой срок лишние дни перестоят, по полуполтине на человека на день». Из мощны виновных. Вот и оберегали рубежи засечные сторожи уставно, не отходили от государева слова в сторону, в остальном же, по позволению Ткача, всяк своего звонаря слушал, со своей колокольни на мир взирал.

Но стоило появиться сакме, тут Ткач мигом забывал бражку да медовуху, будто всю жизнь то и делал, что брезговал пить зелье хмельное. Острый нос его смачно розовел и становился похожим на хищный клюв. И глаза его, большие, пугающе-черные, на выкате, тоже моментально менялись. Из безразлично-сонных превращались они в пронзительно-волевые, и мало кто в тот момент мог выдержать взгляд Ткача, а уж перечить ему никто не смел, если даже понимал, что воевода не прав: пригвоздит взглядом, в дрожь вгонит самого храброго, кто ни аркана степняка, ни клинка его булатного, ни копья ударистого отродясь не боялся. Вот и кишат все, крутятся в дело и не в дело, пока сакма либо не уйдет, пограбив достаточно, без всякого для себя урону, либо не окажется побитой.

Если ускользнет сакма, посокрушается Ткач часок-другой и повелит подать кубок пенный. А после первого – пошло-поехало. Без удержу, без меры. А коль сакма посечена бывала, Якушко Ткач самолично все добро отбитое осмотрит, оружие, которое познатней, в сторонку повелит отложить; на седла и уздечки, богатые узорами серебряными и золотыми, тоже глаз положит. Иной раз даже скажет стрельцам:

– Для стольного града. Одаривать.

Чудно стрельцам. Ну для казны государевой – тут что скажешь, тут сам бог велел. А чтобы подарки богатые делать тому, кто с сакмой не бился, кто отродясь в глаза ее не видел, – такое стрельцов вводило в оторопь. Впервой с таким встречались. Прежде все по-божески делили: царю – цареву, воеводе – воеводино, стрельцу – стрельцово. И все мирно да тихо. Теперь же все не по-людски. Слов не находили стрельцы, чтобы новым возмутиться. А может, побаивались нового воеводу-опричника. Мало ли греховных дел за опричниной. И этот может вполне вот так, за здорово живешь, извести и ответа ни перед кем держать не будет. А Ткач, похоже, понимал, что не станут противиться стрельцы и казаки, подгробал все хорошее под себя, как курица. Если, особенно, попадалось золото какое, не выпускал из своих рук.

Один Роман Левонтьев попытался поначалу выговорить воеводе за нечестный дележ добычи, но Ткач отослал его на самую дальнюю сторожу на долгий срок. Не перечь, не табунысь со стрельцами и казаками! Эта мера еще больше внушила робость порубежникам. Но больше всех подействовала на ратный люд расправа Ткача с писарем корочанским. Пустил по миру, выгнав из крепости. Да еще велел бога благодарить, что на дыбу не попал. Не подбивай ратный люд на бунт!

А писарь такой думки и вовсе не держал. По наущению Романа Левонтьева делал он списки с челобитных, которые посылал Ткач государю. Всякое в них было, но все больше писано о том, сколько лошадей поранило и побило в стычках с крымскими и ногайскими сакмами, сколько государевых карабинов изронено либо попорчено, а под конец – просьба: повели, государь, из казны твоей убытки возместить. Копил такие списки писарь, но помалкивал, ждал, когда воевода белгородский пожалует, чтобы ему передать либо Левонтьеву, когда Ткач тому позволит вернуться в Корочу, но однажды не хватило сил смолчать. Уж слишком наглуго челобитную царю продиктовал Ткач.

Было так: встретили порубежники сакму, числом невеликую; у села Городенки завязался бой, а тут подмога подоспела, ударила со спины ногайцев, те ноги в руки – и восвосяси несолоно хлебавши. Стычка-то всего ничего, степняков пятерых постреляли, а порубежники все живы. О ней бы и вовсе умолчать, а Ткач диктует: «Бился я, холоп твой, с крымскими и ногай-

скими людьми в Рыльском уезде, в селе Городенки, да в Курском уезде, в деревне Реут, и на тех боях много татар побили, а иных переранили и “языки” поимели... И многие наши братья с лошадьми посбиты, и те лошади пропали, а у иных лошади побиты. На тех боях Омельян Смольников изронил государев карабин, Мишка Сапожник изронил десятикошный котел медный, Власко Кириллов изронил государеву казенную пищаль, а у Ромашки Левонтьева убит конь...»

Скрепя сердце, чернилил пером писарь, хорошо зная, что котел медный никто не увозил из Корочи, да и бессмысленно брать его в бой (что с ним делать?), а Левонтьев Роман, Мишка Сапожник и другие порубежники, поименованные в челобитной, вовсе в той стычке с ногайцами не участвовали, но перечить воеводе не стал. Вечером же рассказал друзьям из стрельцов, что, дескать, ногайцы котел Мишки Сапожника медный к себе в степь увезли; Мишку, вполне понятно, сразу подняли на смех, а он к воеводе – челом бить. А кончилось все тем, что изгнал воевода писаря и не велел больше близко даже к Короче приближаться.

После того случая стрельцы, что ни решал воевода, помалкивали. Даже казаки, народ повольней да похрабрей, и те словно шорами глаза прикрыли. А перед собой оправдывались привычно: не трогай дерьма – оно не завоняет.

Верно все, вонять не будет, но ведь, если не вынести его, оно так и останется. Смелого, однако, в Короче не нашлось, чтобы взяться за грабарку.

Процветал Ткач. Кому бои, кому кровь и слезы, а у него новая забота: хоромы строить. Добрый и без того дом Глеба Богусловского Ткач разобрал на дрова, а на его месте затеял новый, на московский манер: с парадной залой, с десятком вовсе не нужных комнат. Временщик, казалось бы, а делал все добротнo. Бревна листовенные, и мох для прокладки меж бревен выдерживал немалое время в конской моче, чтобы гниль не заводилась. Сотни лет такому дому стоять. Не думал, стало быть, упускать из рук землю корочанскую Ткач, хотя и целил вернуться в Москву поскорее.

И вот, когда уж отстроился Ткач да прикупил к бывшей земле Богусловского еще с сотню десятин, случилось вовсе неожиданное – прибег из полону воевода бывший, Глеб Богусловский. Его уж поминали в церкви среди убиенных, а он – ишь ты, вернулся! Из турецкой земли, из самого Царьграда. Не умолчишь об этом, в сторожу не загощишь на веки вечные: Богусловский не Левонтьев. Но и хоромы с землей возвращать Ткач вовсе не намеревался. Сел за челобитную царю. Не поспешил на похвалу Глебу. Бился-де он, что твой тигр, посекал изрядное число ногайцев, но те все же заарканили его. И о том Ткач написал, как привели-де Глеба в Бахчисарай и там пытали, будут ли-де государевы люди идти под Азов, он же им ничего не сказал. А бежал-де он из Царьграда от Гныбея, у которого в рабах находился четыре года. Подробно все мытарства Глеба описал Ткач: как бичом стегали, как на галерах цепями к веслам приковывали, а когда все про него написал, челом царю ударил, чтобы пожаловал тот Глебу Богусловскому новый надел, а прежний оставил бы ему, Ткачу, ибо новые хоромы построены, мельница и маслобойка сделаны. Левонтьева же Романа, просил Ткач, за ложный донос, что-де убит был в бою Богусловский, наказать примерно.

Богусловский, положившись на волю божью, ждал приговора государева, Левонтьев же и Ткач не дремали. Роман гонца с письмом направил спешно брату, что при белгородском воеводе состоял и был у него в чести, а Якушко чуть не каждый день слал гонцов в стольный град.

Соломоново решение принял царь: Ткача оставить в Короче, Богусловского посадить воеводою в соседнюю крепость, а Левонтьева не лишать живота, ибо не имел он злого умысла, писавши челобитную. Вдохнули все облегченно, собрались в парадной гостиной Ткача (воевода белгородский по тому случаю соизволил пожаловать) за уставленным яствами столом и сомкнули кубки пенные, аки друзья неразлучные и верные...

Малое время спустя Роман Левонтьев тоже на воеводство сел. Тут вроде бы и вовсе дружба установилась. Как-никак все они порубежники, верные царевы холопы, защитники святой земли Русской, отеческой. Только кто взял бы на себя смелость утверждать, что дружба та искренняя?

Долго Ткач не успокаивался, все норовил вернуться ко двору цареву. С особой прытью добивался этого, когда опричнина вновь обрела прежнюю силу, по-прежнему загуляла по боярским вотчинам, а попутно и по богатым домам посадского люда; но как всегда бывает, надежды не совпадают с реальностью – чтобы вернуть Ткача ко двору, кому-то нужно было подвинуться хоть чуток, а добровольцев пойти на такую жертву не находилось. Подарки от Ткача все принимали с превеликой охотой, на обещания не скупились, но ничто с места не трогалось.

Настал, однако, день, когда Ткач порадовался, что находится далеко от Кремля. Гонец привез весть о том, что царь почил в бозе, приняв иночество перед кончиной, а вскоре пошли в Корочи тайные пересуды о том, что задушен-де лютый царь, подох без покаяния и причастия, Феодосий же Вятка, духовник царев, постриг в монахи уже покойного. Называли и имена удушителей: Борис Годунов и Богдан Бельский. Но, как часто бывает, облегченно вздохнувший народ оттого, что не стало больше лютого душегубца, не оправдывал Годунова и Бельского за совершенный грех. Кровь тысяч невинных жертв, пролитая Иваном Грозным, опричнина, сделавшая крепостными рабами многие тысячи свободных прежде русских крестьян – все царев зло, все его людство в народной молве как бы растворялось в том зле, которое совершили его самые преданные подданные, самые верные подручные.

Добр по своей натуре русский человек. Добр и честен. Своей меркой и меряет все.

Будь в те дни Ткач в Москве, в самой бы круговерти оказался. В сторонке не остался бы никак. Со страхом он представлял себе, чем все это могло бы для него кончиться. Годуновы и Шуйские междоусобицу завели, и все, что вертелось под ногами, сметали. Бельскому, а он не чета Ткачу, и то Годунов повелел вырвать бороду публично, а затем сослал. Присмирел Ткач, доволен, что хоть на воеводстве остался.

Так и стали порубежниками три этих клана, то сохраняя мир и покой, когда мирно и покойно жилось России, то чураясь друг друга, когда наступало смутное время. И только при Петре Великом, когда хлынули на Русь голландцы да немцы, Ткачи вновь, с помощью друзей и родственников, попали в милость, получили землю в Прибалтике, стали зваться Буберами и ударились в юридические науки. Правда далеко от пограничной стражи Ткачи-Буберы не оторвались, служили в ней по юридической части на постах заметных...

Когда началась Первая мировая война, Буберы вновь стали Ткачами и обижались весьма, когда кто-либо вспоминал их старую фамилию. Из-за этого они разругались с Левонтьевыми в пух и прах, перестали даже бывать друг у друга. Только Владимир Иосифович, преодолев фамильную обиду, продолжал частенько навещать к Левонтьевым. Причина тому – Анна Павлантьевна. На ней Владимир Ткач собирался жениться и, даже поняв, что Петр Богусловский и Анна Павлантьевна увлечены друг другом, не отступался. Жизнь, вполне справедливо считал он, преподносит много неожиданного, идти к своей цели поэтому следует до самого конца. Даже тогда, когда, кажется, делать это бессмысленно.

Что касается Богусловских и Левонтьевых, то они от пограничной стражи так и не отошли. Охрану рубежей Российской империи считали своим долгом. Отцов сменяли дети, продолжая их дело. Что бы ни происходило вокруг. В этом они были, как говорится, полные единомышленники. До самой Февральской революции.

Встретили они ее по-разному. Генерал Богусловский глубокомысленно изрек:

– От жира бесятся. Хватят лиха – одумаются. – И добавил уже строго: – А империю оберечь, чтобы не растащили, – наш долг. Перед потомками мы в ответе за землю Российскую, горемычную.

И детей своих строго, как никогда прежде, предупредил, что проклянет их, если они свое дело без рвения станут исполнять.

– Власть властью, тут как Богу угодно, а у порубежников одна власть, один долг: землю свою оберегать.

Левонтьевы иначе мыслили. Генерал Левонтьев гневался на весь белый свет, восклицал, что все летит в тартарары и не останется на Руси ничего святого. Он даже не признавал модного тогда Учредительного собрания, ему виделся лишь один выход из хаоса: вернуть на трон императора.

– Россия без самодержца – какая это Россия? – горестно восклицал он. – Все равно они будут! Только временщики-самодержцы! Во сто крат хуже царей. Поверьте мне, – пророчески вещал он. – Поверьте старику!

Верили ему дети или нет, сказать трудно, но Дмитрий Левонтьев, старший сын, служивший при штабе пограничного корпуса, был в самых тесных связях с теми, кто готовил побег царской семьи. Он даже имел задание – подготовить безопасный переезд через границу.

Младший сын, Андрей Левонтьев, служивший на Алае, тоже готов был бросить все и приехать в Петроград на помощь Дмитрию. В последнем письме он прямо спросил: когда его приезд станет нужным? Вот этот-то вопрос и вызвал особенно шумливый спор между Левонтьевыми и Богусловскими и до ужина, и во время ужина. Утих он на немного в гостиной, но вдруг вновь возник, только уже не носил конкретный характер – речь уже шла вообще об отношении к революции.

Владимир Ткач почти не принимал участия в споре, а если и говорил, то так ловко, что никто не мог определить, какова же его позиция. Ткач делал это просто мастерски. Как, собственно, все в своей жизни. Владимир Ткач оказался прекрасным продолжателем семейной традиции: поступать так, чтобы никто не мог понять – ни в малом, ни в большом – ни его планов, ни его мыслей, но вместе с тем не считаться человеком скрытным. Все должно делаться неожиданно для окружающих, для коллег и даже для очень близких знакомых.

И сейчас Владимир Ткач удивил всех. Только что он перечил Михаилу Богусловскому, а едва Михаил и Петр вышли из гостиной, Ткач, словно раздумывая вслух, проговорил:

– Пожалуй, догоню я Михаила. – И добавил многозначительно: – Похоже, нам по пути.

Коснувшись осторожно пальцами своих черных кавказских усов, словно проверяя, не колкие ли они, Владимир Ткач поцеловал нежно руку Анны Павлантьевны и энергично и горделиво зашагал к выходу. Это было так неестественно и комично для его коротконогой фигуры, что все, кто остался в гостиной, невольно улыбнулись, понимая, что поступают бестактно. Но что поделаешь? Все привыкли к тому, что Ткач всегда в полупоклоне и всем своим видом показывает внимательность к собеседнику, готовность сию же секунду кинуться исполнять любую просьбу. А если Владимир Ткач собирался возразить, непременно притрагивался пальцами к усам. Все привыкли к его позе, которую кто-то из молодых офицеров окрестил «слушаюсь», – и вдруг такая необычная горделивость.

– Ишь, прорвалось! Видать, заматерееет со временем, станет, как и отец, – не подступишься, – буркнул генерал Левонтьев, когда дверь гостиной закрылась за Ткачом. – Яблоко от яблони далеко не катится. Пока молод, играет в услужливость...

– Что верно, то верно, – согласился Богусловский.

Оба генерала вновь уткнули носы в газеты. Богусловский читал молча, а Левонтьев бросал то одобрительные реплики, то возмущался, то осуждал, мешая и Богусловскому, и своей дочери, которая все еще намеревалась открыть крышку рояля, чтобы сыграть, теперь уже только для брата и для себя, но всякий раз, как только рука ее прикасалась к холодному черному лаку, громкое восклицание отца словно хлестало ее по нежным пальцам, и Анна Павлантьевна отдергивала от рояля руку...

## Глава вторая

Ткач догнал братьев уже на улице. Шли они медленно и так же неспешно перебрасывались пустячными фразами. Оба удивленно и неприязненно глянули на Ткача, а тот, словно не заметив недружелюбных взглядов, потрогал пальцами усы и бодро сообщил:

– Дай, думаю, нагоню. Все одно нам по пути...

Братья Богусловские промолчали. Пошли поживее, а вскоре Петр предложил:

– Давай, Михаил, прощаемся?

– Проводи, как договорились, до штаба, – ответил Михаил. – Зачем поспешно менять решение?

По-деловому выстукивая каблуками по каменному тротуару, сосредоточенно пошагали они к штабу, но чем ближе подходили к Неве, тем чаще попадались им костры, которые горели прямо на мостовых и вокруг которых толпились солдаты, матросы, рабочие, конторские служащие и даже женщины с детьми. Иногда от такого костра отделялась группа во главе с матросом в черном бушлате, непременно с расстегнутыми верхними пуговицами; Богусловских и Ткача останавливали, с нескрываемой подозрительностью поглядывали на зеленые фуражки братьев, на их офицерские погоны; с не меньшим подозрением, но более бесцеремонно рассматривали и Ткача – знакомство это проходило неторопливо, словно матрос и солдаты взвешивали свое решение, наслаждаясь вместе с тем возможностью покуражиться над офицерами и штатским господчиком, а то и вовсе арестовать их и сопроводить куда следует, наслаждаясь полной свободой своих поступков и полной безнаказанностью за все, что бы они ни предприняли. Наконец матрос с ухмылкой требовал: «Документики, вашесблагородь. Документики сюда», – и протягивал ладонь, словно просил милостыню, не замечая этого. Тогда Михаил доставал мандат председателя солдатского комитета команды нижних чинов штаба Отдельного корпуса пограничной стражи и аккуратно клал его на ладонь матроса, а тот, бросив солдатам: «Гляди мне в оба, не убегли бы!» – шел в развалку – знай наших! – к костру, долго рассматривал документ, затем возвращался и уже с уважением провозглашал:

– Пусть идут. Свой брат...

Иногда слышали Богусловские и Ткач брошенные им во след реплики: «К стенке б таких братьев», иногда восторженное: «Пограничники, оттого ить с мужиками заодно...»

Через несколько кварталов все повторялось с завидным однообразием; и Петр в конце концов не выдержал:

– Взял бы, Миша, сопровождающего, что ли?

– Милый Петя, ты никак не усвоишь: равенство и братство...

– Что, стоять у костров и хватать за полы каждого, кто идет мимо? Куда как ни братство! – с усмешкой ответил Петр и добавил уже серьезно, даже грустно: – Отца и тебя послушаешь, вроде все на своем месте: стереги границу России – и все тут. А глянешь на эти вот костры – сомнение берет. Хлеб бы молотить мужикам на гумнах, а они руки от безделья греют...

Михаил Богусловский резко остановился и, отрубая слова, сказал гневно:

– Иди, Петр, домой! Фуражку зеленую и мундир порубежника брось в камин. Только тогда, не пятная чести, ты можешь думать так. Ты же присягал Отечеству. Долг твой, значит, – верой и правдой служить ему. Повторяю: Отечеству! Впрочем, – примирительно, будто понимая, что ничего уже не сможет изменить, закончил: – Говорено уже много. Думай сам, если голова у тебя не только для того, чтобы носить фуражку. Иди домой, будь здоров!

– Ты говоришь так, словно мы кшатрии и только примерное исполнение канонов брахманизма позволит нам в потустороннем мире без угрызения совести сменить мундир на сюртук. Не кажется ли тебе все это каким-то бредом?

– Приглядишься к жизни, дорогой Петя, хоть чуточку повнимательней, и ты поймешь: кланы и касты – суть каждого общества. Царский сын не станет подрядчиком. Во все времена и у всех народов были и есть касты и кланы, только афиш по этому поводу стараются не вывешивать. Один лишь Брахма сказал об этом громко и открыто. Сказал – и из прислужника богам стал сам великим богом.

– Извини, Михаил. Я просто так...

– Просто так ничего не бывает, – все еще сердчая, ответил Михаил. – Совершенно ничего...

– Верно! Весьма верно! – вмешался в разговор Ткач, который хотя и шел вместе с Богусловскими, но те, казалось, вовсе не замечали его, а теперь даже удивились столь неожиданному восклицанию. – Почему я с вами? Отвечу. Я юрист, и я говорю: власть не у тех, кто сидит в Зимнем. Власть у тех, кто держит в руке ружье. У большевиков власть. Вот почему наше место среди солдат...

– Весьма лихо, Владимир Иосифович, – усмехнулся поручик Богусловский. – Весьма. Учись, Петр, прозревать. До февраля главным его требованием было: в кандалы. В феврале Владимир Ткач из кожи вон лез, требуя закрыть ворота штаба корпуса наглухо и отгородить от мира нижние чины. Тогда же Владимир Ткач предложил не водить их в манежи на конные занятия, а учить тактике уличного боя...

– И это им, позволю заметить, весьма сгодилось, – многозначительно проговорил, прерывая Богусловского, Ткач. – Ловко они полицейскую засаду обезоружили.

– Похоже, ты утверждаешь, что пекся о революции? Задним числом можно, – с издевкой сказал Михаил Богусловский, – но мне думается, что следует повременить. Пусть время сделает свое дело, пусть позабудется все. А пока, пока вот в чем правда: по какую сторону баррикад оказались бы пограничники, трудно сказать. Вполне возможно, ротмистр Чагодаев, выполняя волю Ткача и иже с ним, вдолбил бы нижним чинам, кто есть их «истинный» враг, но, к счастью, подоспела помощь. Школа моторных специалистов силой распахнула ворота, солдаты забрали оружие и, захватив штаб, вывесили приказ: «Все старшие чины штаба до особого распоряжения освобождаются от своих обязанностей и пусть сидят дома». Так вот, Петя, наш Ткач возмущался по поводу этого приказа громче всех и настойчивее всех требовал радикальных мер... И понимаешь, Петя, этот рьяный монархист говорит сегодня, что ему по пути с солдатней. Это, Петр, говорит о многом. Подумай и взвесь.

Михаил Богусловский разговаривал с братом так, словно Ткача вовсе не было рядом с ними. Делал он это вполне расчетливо, предполагая, что Ткач, оскорбившись, раскланяется и оставит их, но Владимир Иосифович продолжал идти рядом и будто не слышал слов Михаила Богусловского. Лишь один раз вмешался в разговор братьев и только для того, чтобы приниженно и покаянно признаться:

– Да, все так и было, – потом вроде сбросил со спины пятерик с мукой, бодро заверил: – И все же я еще раз повторяю: нам по пути!

– Дороги наши проложит жизнь, – ответил Михаил и вновь заговорил с братом, внушая ему, для чего им, пограничникам, не следует составлять винтовки в козлы.

– Я помню, Михаил: «Не мир пришел я принести, но меч». Да, люди никогда не проживут без войн. Но разве тысячи обывателей, даже не державших в руках пистолета или винтовки, прокляты Богом?

– Нет, Петр, не Бог, а люди, народ Российской империи проклянет нас, если мы сегодня изменим своему долгу! Пойми это, брат. Ты должен это понять, просто обязан, если не хочешь потерять любовь отца, уважение Иннокентия, мое уважение. Не позорь чести нашей фамилии, нашего клана!

– Не отбирай у меня права мыслить самостоятельно! – возразил запальчиво Петр Богусловский брату. – Мыслить и сомневаться. Не лишай права быть человеком!

– Напрасно, Петр, ты обижаешься на своего брата, – вмешался Ткач, трогая кончиками пальцев усы. – Он говорит все верно.

Реплика Ткача удивила братьев и своей неожиданностью, ибо Богусловские о нем опять вовсе забыли, хотя он не отставал ни на шаг, и своей определенностью, но она показалась им совершенно неуместной; Михаил и Петр почувствовали себя неловко и виновато друг перед другом за размолвку при постороннем человеке и прекратили спор.

Вышли к Неве. Дворцовая площадь тиха и темна. Зимний с трудом угадывался на окутанной теменью набережной, и лишь несколько окон светилось тусклыми квадратами, будто специально, чтобы подчеркнуть мрачность безмолвного царства. А по левому берегу Невы, насколько было видно, лизали темноту, прорываясь сквозь плотные, людские кольца, костры. Но тишина царила и здесь. Безраздельно царила. Казалось, что затаилось тысячеязычное чудовище, готовится прыгнуть на добычу, но никак не решается, сдерживает страх перед смертельной опасностью, однако голодная жадность и предвкушение обильной добычи глушат этот страх, распяляют злобную решимость – дышит чудовище огненно, страшно, но на излете выдохов дрожат трусливо языки пламенные...

– Поистине исполняется Христово пророчество: «Огонь пришел низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!» Вот он – возгорается! – взволнованно воскликнул Петр Богусловский и, вздохнув, ухмыльнулся: – Красиво. Волнует. А как звучит сладко: перевернуть мир! Только зачем? Зачем море крови? По мне, так долг каждого – совершенствовать мир. Для этого не стоит хвататься за винтовки, для этого достаточно каждому прожить честную жизнь. Каждому! И кто у власти, и кто добывает в поте лица благо народу своему...

– Каша добрая в голове твоей, Петр. Как ты не поймешь – за землю борьба! – возразил Михаил. – За землю! А вот насчет честности – тут ты вполне прав. Что бы ни происходило вокруг, поступай по чести и совести своей.

Братья помолчали. Затем Петр вновь со вздохом, с явным сожалением сказал:

– Слово осадой обложили Зимний. Невероятно... Зимний в осаде! Невероятно и нелепо!

Нет, он так и не мог понять, что происходило вокруг. Он был еще слишком молод. Михаил вполне чувствовал состояние брата, поэтому не стал ему больше возражать, а даже поддержал его:

– Да, грядет неведомое... – потом добавил повелительно: – Возвращайся, Петя! Тебе завтра рано – в Выборг. Побудь с Анной Павлантьевной. Заждалась, должно, она.

Братья обнялись, и Петр Богусловский, пообещав взволнованно: «Все, Миша, будет как надо!» – звонко зашагал по тротуару к дому Левонтьевых. Михаил проводил Петра взглядом, пока тот не скрылся за поворотом, затем обернулся к Ткачу, который стоял неприкаянно в сторонке, обиженный тем, что Петр Богусловский не то чтобы проститься, даже не взглянул в его сторону. Михаил спросил:

– Ты куда? Я к нижним чинам.

– Нам по пути.

– Что ж, тогда пошли. Только имей в виду, без пулеметных очередей, похоже, не обойдется.

У штаба, почти рядом с парадным входом, догорал костер. Поодаль от него стояли грузовики, возле которых толпились пограничники. Судя по тому, что винтовки они не составляли в козлы, а держали в руках, – ждали какой-то скорой команды. Богусловский и Ткач направились к грузовикам и едва только приблизились, как кто-то из пограничников крикнул громко и, как показалось Михаилу, торжественно, словно церемониймейстер на избранном приеме: «Поручик Богусловский прибыл!»

Тут же, будто он с нетерпением ждал этого сообщения, оказался перед Богусловским старший унтер-офицер Ромуальд Муклин, рослый, уверенный в себе, энергичный, нагловатый.

– Добро, что пришел. Тут сомнение у некоторых возникло, придешь ли, когда жарко станет...

Прежде Муклин служил в школе моторных специалистов, командовал группой пограничников, там учившихся, потому довольно часто бывал в штабе Отдельного корпуса и в казарме нижних чинов штаба. И всякий раз после ухода Муклина ротмистр Чагодаев, командовавший нижними чинами штаба, находил у подчиненных крамольные листовки. И хотя ему ни разу не удавалось допытаться, откуда появлялись листовки, Чагодаев требовал арестовать старшего унтер-офицера Муклина. Поддерживал Чагодаева и Ткач. Он даже сказал однажды Муклину: «Не избежать тебе кандалов».

После Февральской революции именно старший унтер-офицер Муклин привел к штабу школу моторных специалистов, чтобы вызволить оказавшихся запертыми в казармах нижних чинов. Муклин же и предложил поручику Богусловскому стать председателем солдатского комитета. Сказал без обиняков:

– Я большевик. Давно состою в партии. Я говорю: революция не окончена, она только начинается. Как честному русскому офицеру предлагаю: пойдете с нами в одном строю.

– Я пограничник, – ответил Михаил Богусловский тогда. – И свой долг намерен выполнять честно.

– Вот и прекрасно! – воскликнул радостно Муклин и, переходя на «ты», заверил: – Считай меня своим верным другом.

Дружбы у них не сложилось, но каждый делал свое дело исправно: Богусловский решал, говоря армейским языком, служебно-хозяйственные вопросы, Муклин – все остальные. На улицы Петрограда пограничники выходили только по его совету, которые он давал, ссылаясь на директивы большевистского ЦК.

– Языки я тут иным поукоротил, чтобы не балаболили зря, и, видишь, не ошибся. Не мог я в тебе ошибиться, – пожимая руку Богусловскому, говорил Муклин. – Только вот что: погоны пора снимать. Велено нам Большой проспект под свой глаз взять. И двойку мостов еще. Так что – началось. Революция грядет. Наша, рабоче-крестьянская! – И крикнул в сторону костра: – Оружие командиру!

– Распорядитесь и мне выдать винтовку, – попросил Муклина Ткач, щупая пальцами усы.

– Я бы, господин Ткач, на вашем месте убрался подобру-поздорову, пока не поздно.

– Я твердо решил идти с вами. Мои заблуждения канули в Лету, конец им пришел, – возразил Ткач, продолжая робко трогать пальцами усы и услужливо кланяться. – Очень прошу вас, давайте забудем горькое прошлое. Поверьте, я искренне...

– Возьмем его, не помешает, – поддержал просьбу Ткача Михаил. – Во всяком случае, вреда не сделает. На глазах же.

– Не пришлось бы раскаиваться, Михаил Семеонович. Не пригреем ли, на свою беду...

Ткач молча слушал враждебные слова Муклина, продолжая стоять в услужливом полупоклоне. Он терпеливо ждал, пока Богусловский и Муклин решали его судьбу. Пересилил Богусловский, убедил Муклина не отталкивать человека, возможно, искренне определившего свое место в революции.

– Хорошо, – недобро согласился Муклин и сердито крикнул в сторону костра: – Винтовку и патроны юристу Ткачу!

Через несколько минут они уже втиснулись в набитый пограничниками кузов автомашины, мотор закашлял надрывно, но все же осилил непомерный груз и потянул его в темноту.

Остаток ночи и большую часть следующего дня мотались машины с пограничниками по улицам: то спешили на выстрелы, то вновь колесили от моста к мосту, от перекрестка к перекрестку. Пограничникам попадались такие же переполненные солдатами грузовики, которые тоже, казалось, мотались без толку, и все же Богусловский чувствовал, что вся эта, на первый взгляд, бестолковая суета имеет определенную цель, что бесшабашная и возбужденная народ-

ная стихия – только внешняя видимость. Твердая рука ведет солдатские и рабочие толпы, и скорее не силой приказа, а верным психологическим расчетом.

К вечеру пограничники узнали, что почти весь Петроград в руках восставших, предстоит только штурмом взять Зимний. Позиции им велено было занять в Александровском саду.

Ткач все время словно был привязан к Богусловскому, вслед за ним взобрался в кузов передовой машины, хотя в других солдаты стояли не так спрессованно. И всякий раз, когда приходилось им вступать в перестрелку – то с казаками, то с полицейскими, то с отрядом кадетов, – Ткач старательно делал все, что и Богусловский: падал на мостовую, перебегал к домам и, прижимаясь к холодному камню стен, семенил за Богусловским, стараясь не отставать от него ни на шаг. Ткач так старался казаться смелым, что забывал даже стрелять. Магазин его винтовки так и остался полным. Когда же в Александровском саду кто-то из пограничников спросил участливо Ткача: «Ну как? Надежное место за командирской спиной?» – и все, кто стоял рядом, рассмеялись, Ткач опешил и не сразу сообразил, как вести себя: обидеться ли на наглеца либо вместе со всеми рассмеяться, приняв грубость за шутку. Так и поступил. Но это еще больше развеселило пограничников. Посыпались советы, за какой более широкой спиной пристроиться, когда начнется наступление на Зимний, а трехлинейку, чтобы не мешала, отдать кому-нибудь на время, но Муклин одернул острословов:

– Человек, почитай, впервые в руки винтовку взял. Пособить бы нужно, а вы зубы скалить... – Потом посоветовал Ткачу: – Труса в себе задушить нужно, если и впрямь с революцией решил...

Ткач согласно закивал и воскликнул искренне:

– Это верно! Ой как верно: задушить труса в себе! Это очень верно!

Однако когда отряд пограничников в тугой массе штурмующих рванулся на Зимний, Ткач не изменил своей тактике – бежал за спиной Богусловского его тенью. И только когда ворвались в Зимний, где-то отстал и затерялся в толкучке. Но этого, похоже, никто, кроме самого Богусловского, не заметил: бежал, кричал «ура» – и весь вышел. Но и Богусловскому было не до Ткача, ибо получил он приказ взять под охрану дворец со всеми его несчетными комнатами, со всеми входами и выходами. Отряд же пограничников – всего восемьдесят два человека. Тут даже Муклин, которого, казалось, никакое дело не пугало, не выводило из равновесия, почесал затылок. Но спросил бодро:

– Что будем делать, командир?

– Выполнять приказ, сколь труден и нелеп он ни был бы. Впрочем, выход есть.

Помолчал Богусловский, окончательно обдумывая решение, и сказал уже тоном приказа:

– Все подразделения вывести из Зимнего! Двери все запереть, оставить открытым только парадный подъезд. Парные патрули – наружные, парные патрули – внутри. Со сменой через шесть-семь часов. Караульное помещение – здесь, в Зимнем.

– Годится. Вполне годится, – одобрил Муклин и добавил: – Пойду согласую.

Богусловский, однако, не стал ожидать возвращения Муклина. Построив весь отряд, прошелся он медленно перед строем, вглядываясь в лица пограничников и решая, на кого из них можно более всего положиться. Остановил выбор на курьере Сухове, невысоком крепыше с доверчивым чистым взглядом, и на рядовом Иванове, статном молодце из семьи питерских рабочих.

– Ваш пост – парадный подъезд. Впускать только по моему и Муклина разрешению. Присматриваться ко всем, кто выходит. При малейшем подозрении – задерживать.

– Иль жулье мы какое! – недовольно забубнили в строю. – Царя не для того сметали, чтоб на обноски его зариться. Петуха пустить – и делу конец. Эвон, страматища какая! Всю страмоту на вид выставили. А ить образованными считались.

Богусловский обернулся и глянул еще раз на «туалет Венеры», которая вызвала столь решительное осуждение нижних пограничных чинов, и безмерно тоскливо стало у него на

душе. Эту прекрасную картину он прежде видел только в репродукции, а здесь она будто опалила его огнем. И когда Богусловский говорил с Муклиным, и когда думал об организации охраны дворца, и когда ждал, пока построится отряд, картина властно притягивала к себе его взгляд, но не было времени блаженно рассматривать бессмертное творение Буше, да и теперь, после столь откровенных солдатских реплик, он позволил себе только глянуть на картину – ему казалось, что солдаты осуждают его, Богусловского, ибо заметили его неравнодушие к «туалету Венеры», но ему было стыдно и больно не за себя, а за грубость солдатскую, за их примитивизм, за непонимание прекрасного.

«И это солдатская интеллигенция, – подавленно думал Богусловский. – Штабные нижние чины. Каков же интеллект остальных солдат? Пожгут и порушат все!»

Он хотел и в то же время не решался сказать, сколь ценно для истории вообще, и особенно для истории России, все, что здесь собрано. Он хотел сказать, что богатство России – и не только духовное, но и материальное – во дворцах и храмах, в помещичьих усадьбах и церквях. Туда стекались плоды труда народного, там оседали они, и порушить все, пожечь – значит безжалостно обворовать самих же себя, подрубить корень могучего дерева. Нет, дерево от этого не погибнет, но захиреет надолго, на многие десятилетия. Он никак не мог решиться, сказать это или не сказать, но реплика Муклина, который уже вернулся и слышал, как ворчали в строю, сразу поставила все на свои места:

– Что за базар?! Вы революционные бойцы, а не торговки на толкучке! Поговорите мне еще... Велено взять дворец под охрану, значит – бди. Кто не согласный – марш отсюда. Иди в услужение помещику! Оголяй зад для арапника, гни на лихоимца спину! А он, душегубец, пусть чаи гоняет да страмотой этой любитесь в безделье. Враг он – гидра. И шалай-валай его не осилишь! Хочу не хочу – быть не может. Ухватил винтовку – крепко ее держи. Все поняли?! То-то мне!

Много лет Богусловский с солдатами, он уже привык, что они молча, с безразличным видом, а то и с напускной придурью выслушивали ругань и офицеров, и унтер-офицеров, чем буквально бесили иных, не в меру вспыльчивых и обидчивых командиров, но особенно тех, кто с детства привык к подобострастию дворни. После февральского переворота солдат как подменили. Безразличие и тупое упрямство совершенно исчезли, им на смену пришли недоверие и эдакая ершистость. Все, что бы ни приказывал Богусловский – а его они избрали председателем комитета единогласно и так же единогласно решили, что лучшего командира им не сыскать, – все бралось под сомнение. Когда же Богусловский начинал требовать действительно выполнения приказа, который, по мнению солдат, не был необходимым, то он чувствовал, что солдаты едва сдерживаются, чтобы не наругать в ответ. Позы, во всяком случае, они принимали воинственные, как петухи перед дракой. Это казалось Богусловскому объяснимым, потому не обижало его вовсе. Он, однако, всегда удивлялся тому, что солдаты принимали как должное и любое приказание Муклина, даже вовсе не нужное, не обдуманное, и любую беспардонную грубость. Вот и сейчас на окрик Муклина отряд пограничников нисколько не обиделся, наоборот, солдаты оживились и, словно по команде, поплотнее пододвинули к ноге приклады винтовок, чтобы ловчее и увереннее стояли они. Загудели одобрительно:

– А мы что? Мы ничего. Раз велено – значит, велено!

Оставив в своем распоряжении небольшой резерв, разослал Богусловский всех остальных на посты, а сам, решив проверку постов провести через полчаса, подошел, поборов неловкость от того, что его могут осудить нижние чины, поближе к картине, чтобы сполна оценить, сколь велик талант художника, так умело создавшего образ богини любви, образ женщины. Художник будто врасплох застал Венеру, словно подсмотрел тот миг, когда она еще расслаблена сном и оттого такая домашняя, умиротворенная, но в этой умиротворенности чувствуется уверенность в себе, понимание того, что все в жизни подчинено ей, она властна не только над всеми людьми, но и над всеми богами.

К Богусловскому подошел и встал рядом Муклин. Ухмыльнулся, покачав головой, и изрек с явным упреком:

– Стыда совсем нету. Нагишом вся. Страм один.

– Богиня Венера, – ответил Богусловский. – Ее оружие – любовь, но не меч. Однако власть ее над людьми не менее сильна, чем власть меча. Даже много сильнее...

– Ты брось, Михаил Семеонович, эти штучки. Штык! Только штык, который взял в мозолистые руки трудовой класс, будет повелевать миром. Дрожать от страха будут вот эти голые крали. Снопы вязать да за коровой ходить – нагишом не находишься. Вмиг сарафан натянет.

– Вы считаете... – Богусловский не хотел называть Муклина по имени, а официальное обращение не подходило к такому вот разговору, – вы считаете, что крестьянка не способна любить искренне и пылко?

– Налюбишь, если в одной избе – семеро по лавкам да еще телок с ягнятами! – сердито отрубил Муклин. – В хоромах барских, думаю, смогла бы похлеще вот этой. – Муклин вновь усмехнулся: – Да если еще вдоволь на эту кралю нагляделась бы. Или вон на того, – Муклин кивнул на античную статую, – голого бугая...

– Возможно. Вполне возможно, – покорно согласился Богусловский.

Знал он крестьянскую жизнь, крестьянскую психологию книжно и потому не считал вправе спорить с Муклиным, который частенько с гордостью заявлял, особенно если была нужда оправдать очередную грубость или безалаберность, что родился на гумне, пеленали его на овине, а рос вместе с телком. Да Муклин и не примет, как считал Богусловский, возмущенный, взорвется и начнет наседать упрямо, волей-неволей отступишься. А время вовсе не подходящее для выяснения точек зрения на проблемы любви. Что станет с ними через час, через день, через месяц? Кто может ответить сегодня на этот вопрос? У революции свои законы, она меняет не только эпохи, не только судьбы целых наций, но и судьбы отдельных людей, она губит отживший строй ценой гибели многих и многих. У революции свои приговоры, и, как правило, кровавые.

По-иному был настроен Муклин. Его вовсе не устраивала неопределенность ответа Богусловского, он совершенно не пытался понять причину такого ответа, даже не думал о душевном состоянии собеседника, о возможных противоречиях в его мыслях. Муклину все представлялось совершенно ясным: Зимний пал, буржуазное правительство низложено, но гидра контрреволюции непременно станет сопротивляться, с ней придется воевать, и, скорее всего, основательно, потому у всех, кто начал борьбу с капиталистами и помещиками, просто обязана быть одинаковая оценка политического момента.

И только так! Муклин хотел верить без огляда тем, кто находился с ним в одном строю, а неопределенность в самой малости вызывала у него подозрение. Он напористо спросил:

– Возможно?! – И, сделав паузу, чтобы подчеркнуть важность тех слов, которые собирается сказать, продолжил так же напористо: – Ты эту, Михаил Семеонович, оппортунистическую уклончивость бросай! С народом пошел, значит, иди с ним, а не рядом. Тебе нужно понять... – Муклин поднял вверх указательный палец, готовясь сказать какую-то важную и совершенно непререкаемую истину, но в это время с лестницы донеслось грозное, приправленное смачным матерком:

– Я те поупираюсь! Я те поговорю! А ну, шагай! – Богусловский и Муклин обернулись одновременно и увидели буквально поразившую их картину: двое пограничников вели Ткача, грубо ухватив его за руки, а третий подталкивал прикладом в спину. Любая попытка Ткача либо что-то сказать, либо остановиться пресекалась решительным толчком приклада, категорическим приказом: – Шагай, вашеблагородь!..

И вольная, от души, ругань.

– Что произошло? – с недоумением спросил Богусловский Ткача и патрульных, когда они спустились с лестницы.

– Чистейшее недоразумение, – ответил с напускной небрежностью Ткач. – Я затрудняюсь даже объяснить...

Патрульных словно прорвало. Заговорили они враз все трое, перебивая друг друга и торопясь, как бы оберегая себя от возможного обвинения в самоуправстве. Из всего этого сбивчивого многословия Богусловский понял, что Ткач пытался вырезать из рамы какую-то картину, а в карманах уже были камни. Богусловский глянул на них – старинные, не иначе как времен Александра Македонского. Спросил Ткача, сдерживая гнев:

– Что толкнуло вас на столь мерзкий поступок? – И сам же ответил: – Впрочем, ваш род всегда был алчным. Всегда!

– Избавься от шор, Михаил, оглянись, пойми наконец, – горячо, убежденно, как никогда прежде, заговорил Ткач. – Вся эта красота, все это несметное богатство будет затоптано, заплевано, растащено... Все погибнет! Все! Дворцы и храмы, гордость и устои России, превратятся в руины, а на их развалинах вырастет жгучая крапива! Да-да! Крапива! И святой долг каждого просвещенного человека спасти хоть малую толику всего этого прекрасного, накопленного веками!..

Ткач говорил то, о чем только что думал сам Богусловский, только он искал выход, как сбересть все это для России, а Ткач предлагал разворовать все, попрятать по домам, обогатив тем самым только себя. Богусловский перебил Ткача:

– Я никогда не предполагал, что вы так низко падете. Вы – омерзительны! – Затем приказал патрульным: – Отпустите его! Он недостоин того, чтобы марать о него руки.

– Ты брось, командир, офицерские штучки! – решительно возразил Муклин. – Эка, руки марать! Революцию в беленьких перчатках совершать прикажешь! В Неву этого мерзавца! Рыбам на корм.

– Отпустите! – твердо повторил Богусловский. – Подлость и алчность, увы, неподсудны. Отпустите.

– С огнем играешь, – сердито буркнул Муклин. Потом также сердито приказал патрульным: – За дверь его – и под зад коленом. Пусть катится на все четыре стороны! – Затем вновь Богусловскому, уже назидательно: – Как бы не пришлось, Михаил Семеонович, локти кусать. Вспомнишь тогда меня. Ой, вспомнишь.

Не мог тогда предполагать Богусловский, что слова эти пророческие...

## Глава третья

Долго и с явным недоверием рассматривали пограничники в проходной полка предписание Петра Богусловского, недоуменно поглядывая и на его представительную фигуру – что тебе генерал, и на погоны прапорщика. А Богусловский тоже с удивлением смотрел на пограничников, вот уже вторично передававших друг другу его предписание. Все без погон, и только по обмундированию да по трехлинейкам, которыми был вооружен наряд, Петр Богусловский определил, что перед ним нижние чины, и потому с явным недовольством спросил:

– Что за спектакль?!

– Выграла офицерская кровушка? – ухмыльнувшись, добродушно проговорил пограничник Кукоба, высокий, с толстошеким улыбчивым лицом и веселыми серыми глазами. – Бумага-то у тебя, вашеблагородь, того – липовая...

– Проводи меня к командиру полка! – нетерпеливо и гневно потребовал Богусловский. Лицо его побагровело от обидного унижения. – Я не прошу. Я приказываю!

– Нет уж, господин прапорщик, я тебя к председателю комитета проведу, он с тобой разберется, – все с тем же добродушием, нисколько, казалось, не осерчав на грубость Богусловского, ответил Кукоба и снял винтовку с плеча. – Пошли, вашеблагородь.

Понимая нелепость положения и свою полную беспомощность против такой вот наглости, гордо и непринужденно шагал Петр Богусловский в сопровождении конвойного по чистым, словно вылизанным, дорожкам городка, невольно примечая опрятность и порядок во всем и возмущаясь неуважительностью нижних чинов по отношению к нему, офицеру. Дело в том, что кто бы ни встретался им, каждый, вместо приветствия, непременно спрашивал Кукобу:

– Где это ты благородие ваше изловил?

– Временные прислали, – отвечал Кукоба.

– Тогда верно, тогда веди, – одобряли Кукобу, и это всякий раз хлестало по самолюбию прапорщика, словно его обвиняли в каком-то непристойном поступке, а гнев мешал ему осмыслить неторопливо и логично все то, что произошло с ним. Он, когда добирался из Петрограда в полк, рисовал в своем воображении встречу с командиром полка, офицерами, нижними чинами, с которыми давал себе слово быть добрым и по-отечески строгим, и вдруг такая нелепость: его ведут под конвоем. Ни за что ни про что.

Не знал еще прапорщик Богусловский о штурме Зимнего, о свержении Временного правительства.

Кукоба постучал почтительно в обитую коричневой кожей дверь; не ожидая ответа, открыл ее и, пропуская Богусловского, добродушно и весело, словно совершал что-то очень приятное человеку, пригласил:

– Входи, вашеблагородь. Покажь свои мандаты председателю.

Петр вошел в кабинет, очень просторный и очень безвкусно обставленный. На одной стене висела большая крупномасштабная карта Ботнического залива с нанесенными условными обозначениями постов полка и других военных городков и укрепленных районов, у противоположной стены стояли, словно выстроенные для парадного расчета, плотной ровной шеренгой мягкие стулья, а почти на середине комнаты будто врос в паркетный пол кряжистый стол красного дерева, за которым спиной к окну сидел председатель комитета полка Шинкарев, такой же кряжистый. И стол, и Шинкарев казались единым целым, вековым монументом, источавшим надежное спокойствие, уверенность и силу. И весьма нелепым представилось Петру Богусловскому то, что Шинкарев, кому бы важно изрекать истины бесспорные, вещать с высоты своего монументального величия, вместо этого сосредоточенно, очень осторожно, с заметной неумелой робостью накалывал на скоросшиватель какие-то листки и даже не поднял

головы, вроде бы совсем не слышал ни стука в дверь, ни добродушно-веселого голоса Кукобы, так бесцеремонно приглашавшего Богусловского переступить порог столь значительного для него кабинета. Взяв очередную бумажку, основательно помятую, Шинкарев принялся разглаживать ее ладонью старательно и аккуратно.

Кукоба остановился в нерешительности рядом с порогом, потом, подтолкнув вперед Богусловского, робко переступил с ноги на ногу, кашлянул негромко, прикрыв рот рукой, подождал немного и кашлянул еще раз, на этот раз нетерпеливей и громче.

– Ну что тебе? – с явным недовольством спросил Шинкарев, продолжая разглаживать листок, прежде чем наколоть его на скоросшиватель, и, лишь поместив на предназначенное место бумажку, поднял голову и начал рассматривать Богусловского. Так же, как солдаты у костров на Невском, как пограничники в проходной полка: липко, недоверчиво и долго. Затем спросил Кукобу: – Кого привел?

– Я считаю вопрос этот в моем присутствии совершенно бестактным, более того, оскорбительным! – возмущенно заговорил Богусловский. – Как оскорбительно поведение состава наряда и его старшего! – Богусловский кивнул на Кукобу, все так же продолжавшего стоять с винтовкой наперевес. – Он осмелился конвоировать через весь город офицера, прибывшего для прохождения службы в полк! Прямой подрыв авторитета моего. Я просил бы принять надлежащие меры к составу наряда, если я прибыл в воинскую часть, а не в анархический бедлам! Я бы просил...

– Сбавь прыть, ваше благородие, – не повышая голоса, перебил Богусловского Шинкарев. – Мы не на плацу и не в царских казармах. Прошло то времечко, когда солдат сквозь строй прогоняли. Революционный боец – полноправный гражданин и требует к себе уважения как личность.

Шинкарев встал, неторопливо вышел навстречу Богусловскому и остановился в шаге от него. До удивления они оказались похожими друг на друга. Оба высокие, начинающие полнеть молодые мужчины, уверенные в себе. Лица открытые, привлекательные, а глаза умные, волевые. Даже залысины у обоих одинаковые, только волосы разные: у Богусловского черные, густые и волнистые; у Шинкарева же светлые, мягкие, что тебе шелкова трава-ковыль. Оба в форме прапорщиков, только у одного погоны и сукно подворотней да сшита умелым портным, у другого же мундир мешковат и непривычен, без погон.

– Богусловский, говоришь? – прочитав предписание, переспросил Шинкарев. – Не генерала ли Богусловского сынок?

– Да.

– Что ж, проходи, садись за мой стол и читай телеграммы. Потом потолкуем. – И Кукобе: – Свободен. Продолжай службу нести так же исправно.

Богусловский подошел к столу, но садиться не стал. Взял телеграмму, еще не подшитую, пробежал по тексту глазами и ничего не понял: «Общее собрание пограничного поста постановило Советы приветствовать, а если нужно для защиты власти трудового народа, готовы направить двух человек в Петроград». Взял следующую телеграмму, в ней почти те же слова: собрание революционных бойцов-пограничников, единодушная поддержка Советов, готовность защищать народную власть штыками. Взял еще одну – то же самое...

Богусловский какое-то время перелистывал телеграммы, взял теперь уже скоросшиватель, а сам мысленно, шаг за шагом, возвращался из этого нелепого кабинета к проходной полка, где его встретили оскорбительным недоверием, воспринимая с еще большей остротой беспардонность нижних чинов, и далее – на Невский, к обложенному кострами Зимнему.

«Значит, захвачен», – с сожалением констатировал Петр Богусловский. На Временное правительство ему лично не было причин обижаться. Звание ему присвоили в срок, дома привычный уклад жизни почти не изменился, только вечерами чаще возникали политические споры, но они даже вносили оживление в скучные званые посиделки, будоражили мысли, и

этому Петр даже радовался. И всегда на этих вечерах рядом с ним находилась Анна Павлантьевна. Все уважали их любовь, все прощали ему, как самому молодому, если даже он говорил какую-либо политическую нелепицу. Его никто не оскорблял, не унижал. А вот теперь?..

– Как видишь, все наши погранпосты поддерживали советскую власть. Более того, мы имеем сведения, что первый, второй, пятый и тринадцатый Заамурские казачьи пограничные полки, гарнизон Кушки – все за советскую власть. Военно-революционные комитеты полков взяли, как и у нас, охрану границы в свои руки. С нами остаются истинные сыны России. Спесивым интеллигентам с нами не по пути. Мы отпускаем их с миром.

Какой пощечиной прозвучали для Богусловского последние фразы! Правда, все это он уже слышал (не с такой, конечно, категоричной обнаженностью) и от отца и особенно от Михаила, читал в письмах Иннокентия, но тогда от него не требовалось никакого решения, он мог сомневаться, мог возражать – его просто переубеждали, ему пытались доказать... Все это, однако, мало его волновало, почти всегда вечерами рядом с ним была Анна Павлантьевна, его невеста, и она-то являлась главным объектом его внимания, и назидания старших просто скользили мимо него; сейчас же молодостью и влюбленностью не прикроешься, сейчас его спрашивали, в какой строй он намерен встать, сейчас его ответа ждали сразу же, без промедления, сейчас нужно было решать. А Петр Богусловский не знал, что ответить...

– Генералу Богусловскому я многим обязан. Может быть, даже жизнью. Человек он. Человек! А яблоко от яблони далеко не катится. Так что предлагаю: принимай, Петр Семенович, роту. Патрулировать станцию будешь, проверять документы в поездах. По рукам?

– Что ж, пусть будет так, – нерешительно согласился Богусловский.

– Ну, вот и прекрасно. Да, вот еще что... Боец, который тебя привел сюда ко мне, – заместитель председателя ревкома. Мой заместитель. Тебе он, стало быть, главный помощник. Правая твоя рука. Ты уж обиду не держи на него. Революционное время. Глаз да глаз нужен. Лучше уж перегнуть, чем прошляпить.

– Границе, как я представляю, всегда глаз необходим. А вот грубость и, простите, распоясанность полная, думаю, пограничника не красят. И даже, как вы сказали, революционного бойца. Я решительно встану против оскорбительной грубости. Решительно!

– Надеюсь, до зуботычин не дойдет? – с улыбкой спросил Шинкарев. – А линия, в общем, верная. Одобряю. И поддержу. По-большевистски решительно поддержу.

Замелькали однообразно напряженные дни: инструктаж нарядов, дежурство по полку, патрулирование на станции и в поездах, проверка службы нарядов – и каждый день все больше задержанных, которые тоже доставляли немало хлопот. На допросах они твердили подозрительно одно и то же: «Только коммерческие интересы подняли в дорогу». Когда же приглядишься к ним, то многие из арестованных походили больше на переодетых офицеров, чем на купцов либо коммивояжеров.

В первое время все задержанные изворачивались, словно ужи, пытаясь выскользнуть из рук. И их поведение было вполне объяснимо. Политическая обстановка в Финляндии пока оставалась непонятной, и борьба за власть шла не в открытую, а тайно. Вот никто и не стремился афишировать истинные цели своих поездок в Германию, Польшу и другие страны.

События, однако, развивались бурно. В середине ноября Финляндию потрясла всеобщая забастовка. Увы, выстрел народного недовольства оказался холостым. Руководители финских социал-демократов не смогли или не захотели воспользоваться революционной ситуацией. Советская власть не была создана.

– Сползание в оппортунизм, – сделал этому событию категорическую оценку председатель ревкома пограничного полка Шинкарев. – Теперь порохом запахнет. Капиталист своего не упустит, уж я-то знаю.

Дальше все шло по обычной житейской схеме: где потерял один, там нашел другой. Парламент утвердил буржуазный сенат во главе со Свинхувудом, представителем правого крыла младофиннов. Шинкарев констатировал:

– Гидра контрреволюции поднимает голову. Польется кровушка, поверьте мне!

Поверить в это было трудно. В России советская власть торжествует почти повсюду, а Финляндия, как ни крути, тоже Россия. Но граница – барометр. Она сразу показывает политический климат. «Коммерсантов» намного поубавилось, но те, кого патрульные задерживали, извивались теперь по-гадючьи, стремясь не выскользнуть, а укусить. Они полностью отрицали право русских пограничников вмешиваться в их дела, а иные требовали убираться подобру-поздорову. Все чаще стали поступать доклады с постов о вооруженных нападениях на них.

Шинкарев собрал ревком, пригласив на совещание работников штаба полка, командиров подразделений и начальников близлежащих пограничных постов. В кабинет принесли еще десяток разномастных стульев и поставили их у стены с картой. Члены революционного комитета и приглашенные начали входить в кабинет, рассаживаясь вдоль стен, как на деревенских смотринах, а Шинкарев, восседая за своим столом, даже не поднимал головы, озабоченно, какой уже раз, перечитывал короткое донесение с дальнего поста. Когда все расселись (Шинкарев уловил этот момент, хотя, казалось, вовсе не замечал, что происходит в его кабинете), он поднялся и заговорил хмуро:

– Вот еще одно донесение. Вооруженное столкновение. Среди пограничников есть убитые и раненые. – Сделал паузу, чтобы собравшиеся осмыслили сказанное, и продолжил: – Ревком хочет выслушать доклады по обстановке и мнения о необходимых контрмерах. После этого ревком примет окончательное решение, выполнение которого будет безоговорочным. Первым прошу доложить Трибчевского. Только смотри мне, чтобы все как на духу!

Кабинет напряженно притих. Все собравшиеся, особенно бывшие офицеры, с еще большей остротой почувствовали неуютность кабинета, нелепое сидение друг против друга, игру в великую озабоченность предревкома. Все ждали, что ответит начальник штаба полка. И спокойный голос Трибчевского зазвучал в этой тишине тоже нелепо. Слова, правда, соответствовали моменту.

– Мне бы хотелось знать, – не вставая и не убирая с коленей объемистую папку, спрашивал Трибчевский Шинкарева, – кто здесь собрался? Люди, имеющие одну святую цель, либо те, кому вы, товарищ Шинкарев, – на слове «товарищ» Трибчевский все же сделал ударение, – не вполне доверяете? Если меня либо кого из штабных подчиненных мне работников ревком в чем-то подозревает, прошу предъявить конкретные факты, обоснованные обвинения. Упреков вообще я не приемлю.

– Не время препираться, – буркнул в ответ Шинкарев недовольно и приподнял донесение с поста, словно прикрыл им свою грубость. – На постах кровь льется, а ты – в амбицию.

Трибчевский помолчал немного, решая, как вести себя дальше, затем, вздохнув, поднялся.

– И хотя ничто не может оправдать вашей оскорбительной беспардонности, в принципе вы правы: кровь льется. Более того, думаю, это всего лишь зловещая увертюра. И вот почему... – Трибчевский подошел к столу и принялся развязывать тесемки своей пухлой папки.

Петр Богусловский с интересом наблюдал за Юрием Викторовичем Трибчевским. Прежде, до прибытия в полк, он не встречался с этим сравнительно еще молодым, но известным в пограничном корпусе офицером. О Трибчевском с уважением говорили и Богусловский-старший, и Михаил, и генерал Левонтьев, другие генералы и офицеры штаба погранкорпуса, когда бывали в гостях у Богусловских, как об офицере большого аналитического ума, смелых и верных суждений, как о человеке высокой чести, как о патриоте. Сейчас Петр Богу-

словский мог в какой-то мере оценить верность тех характеристик. Первое впечатление – хорошее.

Юрий Викторович раскрыл тем временем папку, но ни одного документа не вынул, а, положив на них руку, сказал:

– Вот здесь – правовые документы, регламентирующие режим границы. Ревком не просто может, он должен, он обязан доскональнейшим образом изучить их. Принимаю и на себя вину, что не потребовал этого прежде...

– Не казись, – с ухмылкой прервал начальника штаба Шинкарев. – Учить старорежимные договора и приказы мы не будем, руководствоваться ими тем более не станем. Режима этого уже нет. Нет – и все. Новый мир мы начали строить. Наш, новый. И оглядываться на свергнутую власть царя и буржуазии нас, большевиков, никто не заставит. Ревком просит обстоятельный доклад о сегодняшней обстановке. И только!

– Увы, сделать это я бессилён. Историю перечеркнуть не в моих компетенциях.

– Уже перечеркнули! – с подчеркнутой раздраженностью возразил Шинкарев. – Одним махом перечеркнули!

– Иллюзия. История – не начальник штаба полка, с которым можно не считаться. Жернова истории тяжелы, с ними шутки плохи, – все так же спокойно, совершенно не повышая голоса, парировал Трибчевский и замолчал, ожидая нового возражения предревкома. Но тот, хотя и насутился еще демонстративней, все же смолчал, тогда Юрий Викторович продолжал: – Сегодняшние события в Финляндии – эхо содеянного императором Александром Первым и его самым близким советником небезызвестным графом Михаилом Михайловичем Сперанским...

– Можно бы и без титулов обойтись.

– Можно, – согласился Трибчевский и продолжил: – Считаю своим долгом напомнить сбравшимся о том законодательном акте.

Последняя фраза буквально покорила Петра Богусловского своей тактичностью. Он вполне одобрял и твердость Трибчевского, отстаивающего свои позиции, и его обезоруживающее спокойствие в споре с Шинкаревым, но теперь, когда тот перешел к деловой части доклада, то вполне мог, как считал Богусловский, отомстить Шинкареву за грубость, сказав открыто, что вынужден сделать экскурс в историю отношений России с Финляндией потому, что члены ревкома, и даже председатель, не знают их, но Трибчевский не унился до этого.

– Так вот, семнадцатого апреля тысяча восемьсот восьмого года Александру угодно было возложить на Сперанского, при всех его многочисленных и многообразных занятиях, еще и звание канцлера Абовского университета. И Сперанский вскоре написал: «Финляндия есть государство, а не губерния». И вот, безусловно, отчасти под влиянием Сперанского, одиннадцатого декабря тысяча восемьсот одиннадцатого года Александр преобразовал новоприобретенный край в Великое княжество Финляндское. К нему Александр соизволил присоединить не только земли, отошедшие к России по Абовскому миру тысяча семьсот сорок третьего года, но и Выборгскую губернию, которая принадлежала империи со времен Петра.

– Вольно земли, кровью русской омытые, раздаривать?! Ишь манеры! По рукам бы его, дарителя несчастного! – искренне возмутился Шинкарев. – По рукам! Не кради народное!

– Событие это, как ни прискорбно, осталось совершенно незамеченным для российской прогрессивной общественности. Недаром же говорили: Россия – великая хоромина. В одном углу обсуждают, в другом не ведают. Но история сейчас напомнила о себе со всей очевидностью. По моему твердому убеждению Финляндия выйдет из состава России полностью, и в самое ближайшее время. Произойдет это, если внимательно вдуматься в данные по обстановке, не бескровно. Более того, не исключено участие Германии в предстоящих событиях. Я предлагаю: испросить позволение в СНК о выводе полка из Финляндии. Пока вопрос будет дебаты-

роваться в инстанциях, сосредоточить наличный состав постов здесь, при штабе. Чтобы иметь силы, при необходимости, обороняться.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.